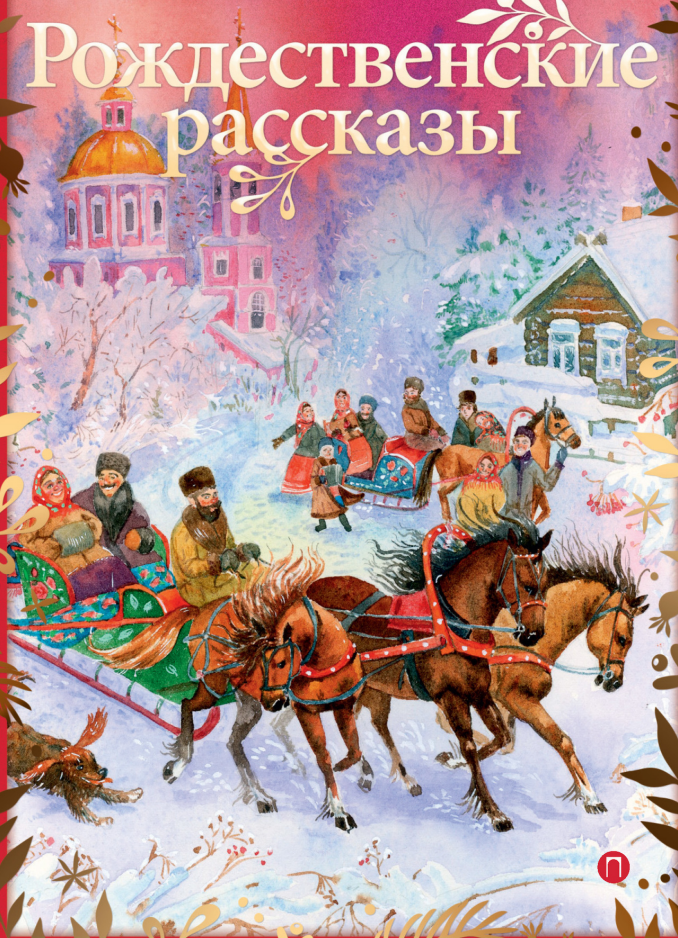


# Рождественские рассказы



# Рождественские рассказы

## Серия «Праздничная книга»

Рождество Христово — праздник, вместе с которым в наш мир приходит чудо. Это время милосердия, примирения и прощения, время, когда мы явственно ощущаем Божественное присутствие. Представление о Рождестве как времени преображения мира как нельзя лучше отражается в жанре рождественского рассказа.

В этой книге собраны жемчужины русского рождественского рассказа, созданные в период с середины XIX до начала XX века. Они погружат вас в атмосферу настоящего русского Рождества.



# Рождественские рассказы

## Сборник

*Допущено к распространению Издательским советом  
Русской Православной Церкви ИС Р17-716-0627*

*В книге использованы, святочные и рождественские открытки XVIII–XX веков, взятые из открытых источников. Издательство также выражает, благодарность С. Р. Ляху («Антикварная, и. Букинистическая, торговля. С. Ляха») за предоставление качественного иллюстративного материала.*

\* \* \*



## От редакции

Традиция рождественского рассказа берет свое начало в средневековых мистериях. Именно оттуда в рождественский рассказ перешла атмосфера чуда и традиционный счастливый финал с неизменным торжеством добра над злом. Герои рождественских рассказов обычно оказываются в критическом положении, для разрешения которого требуется вмешательство свыше, что и происходит – чаще всего как счастливая случайность или акт сочувствия и милосердия добрых людей. Особенно часто этот мотив встречается в произведениях второй половины XIX века, где важное место занимает социальная тематика.

Вообще в XIX веке рождественский рассказ пользовался огромной популярностью. Основателем жанра принято считать Чарльза Диккенса, который в своих произведениях говорил о ценности человеческой души, о взаимном доверии, семейном счастье, самопожертвовании в любви, влиянии чистой, благородной души на окружающих и так далее.

Рассказы Диккенса, а также «Щелкунчик» Гофмана, «Девочка с серными спичками» Андерсена и ряд других получили широкое распространение в России. Традиция европейского рождественского рассказа в нашей стране попала на благодатную почву, тем более что она уже была подготовлена Н. В. Гоголем («Ночь перед Рождеством»). Однако если

у европейских писателей неременным финалом была победа добра над злом и нравственное перерождение героев, то в отечественной литературе нередко встречались трагические финалы: человек погибал, ребенок умирал или замерзал рождественской ночью. Например, в рассказе Достоевского «Мальчик у Христа на елке» шестилетний сирота замерзает под Рождество в холодном северном городе. Правда, в итоге чудо все-таки происходит: замерзнув, мальчик попадает на небо, на Христову елку, где встречается с умершей матерью и другими мальчиками и девочками, так же, как он, умершими от холода или голода. Рождественская утопия поддерживала людей, давая им надежду на вознаграждение после смерти.

В советское время писатели, хоть и в завуалированной форме, охотно использовали сюжеты, связанные с рождественской традицией. Вспомним хотя бы, как заканчивается рассказ Аркадия Гайдара «Чук и Гек»: воссоединившаяся, пусть ненадолго, семья счастливо встречает Новый год у наряженной елки.

Считается, что в чудеса верят только дети. На самом деле детская вера в чудесное остается с нами навсегда, только представление о нем с возрастом меняется. Чудо у каждого свое, но это всегда то, что кажется невозможным при обычном порядке вещей. Есть в году особенное время, когда этот порядок непременно нарушается, – это дни Рождества, потому что и сейчас мы по-детски ждем новогоднего чуда.

# Рождественские рассказы



# Н. В. Гоголь

## Ночь перед Рождеством



Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя, ясная ночь наступила. Глянули звезды. Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа<sup>1</sup>. Морозило

---

<sup>1</sup> Колядовать у нас называется петь под окнами накануне Рождества песни, которые называются колядками. Тому, кто колядует, всегда кинет в мешок хозяйка, или хозяин, или кто остается дома колбасу, или хлеб, или медный грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то болван Коляда, которого принимали за Бога, и

сильнее, чем с утра; но зато так было тихо, что скрип мороза под сапогом слышался за полверсты. Еще ни одна толпа парубков не показывалась под окнами хат; месяц один только заглядывал в них украдкою, как бы вызывая принаряжившихся девушек выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу, и вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.

Если бы в это время проезжал сорочинский заседатель на тройке обывательских лошадей, в шапке с барашковым околышком, сделанной по манеру уланскому, в синем тулупе, подбитом черными смушками, с дьявольски сплетенною плетью, которою имеет он обыкновение подгонять своего ямщика, то он бы, верно, приметил ее, потому что от сорочинского заседателя ни одна ведьма на свете не ускользнет. Он знает наперечет, сколько у каждой бабы свинья мечет поросят, и сколько в сундуке лежит полотна, и что именно из своего платья и хозяйства заложит добрый человек в воскресный день в шинке. Но сорочинский заседатель не проезжал, да и какое ему дело до чужих, у него своя волость. А ведьма между тем поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Но где ни показы-

---

что будто оттого пошли и колядки. Кто его знает? Не нам, простым людям, об этом толковать. Прошлый год отец Осип запретил было колядовать по хуторам, говоря, что будто сим народ угождает сатане. Однако ж если сказать правду, то в колядках и слова нет про Коляду. Поют часто про Рождество Христа; а при конце желают здоровья хозяину, хозяйке, детям и всему дому. *Замечание пасичника.*

валось пятнышко, там звезды, одна за другою, пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре еще блестили. Вдруг, с противной стороны, показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукий, хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Спереди совершенно немец: узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что ни попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пяточком, ноги были так тонки, что если бы такие имел яресковский голова, то он переломал бы их в первом козачке. Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый и длинный, как теперешние мундирные фалды; только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, и что весь был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не немец<sup>2</sup> и не губернский стряпчий, а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутрене, побежит он без оглядки, поджавши хвост, в свою берлогу.

Между тем черт крался потихоньку к месяцу и уже протянул руку схватить его, но вдруг отдернул ее назад, как бы обжегшись, пососал пальцы, заболтал ногою и забежал с

---

<sup>2</sup> Немцем называют у нас всякого, кто только из чужой земли, хоть будь он француз, или цесарец, или швед – все немец.

другой стороны, и снова отскочил и отдернул руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хитрый черт не оставил своих проказ. Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки; наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывал, побежал далее.

В Диканьке никто не слышал, как черт украл месяц. Правда, волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе, и уверял с божбою в том все село; но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться черту на такое незаконное дело? А вот какая: он знал, что богатый козак Чуб приглашен дьяком на кутю, где будут: голова; приехавший из архиерейской певческой родич дьяка в синем сюртуке, бравший самого низкого баса; козак Свербыгуз и еще кое-кто; где, кроме кутьи, будет варенуха, перегонная на шафран водка и много всякого съестного. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома, а к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее проповедей отца Кондрата. В досужее от дел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке. Сам еще тогда здравствовавший сотник Л...ко вызывал его нарочно в Полтаву выкрасить дощатый забор около его дома. Все миски, из которых диканьские козаки хлебали борщ, были размале-

ваны кузнецом. Кузнец был богобоязливый человек и писал часто образа святых: и теперь еще можно найти в Т... церкви его евангелиста Луку. Но торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на стене церковной в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день Страшного Суда, с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа; испуганный черт метался во все стороны, предчувствуя свою гибель, а заключенные прежде грешники били и гоняли его кнутами, поленами и всем чем ни попало. В то время, когда живописец трудился над этою картиною и писал ее на большой деревянной доске, черт всеми силами старался мешать ему: толкал невидимо под руку, подымал из горнила в кузнице золу и обсыпал ею картину; но, несмотря на все, работа была кончена, доска внесена в церковь и вделана в стену притвора, и с той поры черт поклялся мстить кузнецу.

Одна только ночь оставалась ему шататься на белом свете; но и в эту ночь он выискивал чем-нибудь выместить на кузнеце свою злобу. И для этого решился украсть месяц, в той надежде, что старый Чуб ленив и не легок на подъем, к дьяку же от избы не так близко: дорога шла по-за селом, мимо мельниц, мимо кладбища, огибала овраг. Еще при месячной ночи варенуха и водка, настоящая на шафран, могла бы заманить Чуба, но в такую темноту вряд ли бы удалось кому стащить его с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке, несмотря на свою силу.



Таким-то образом, как только черт спрятал в карман свой месяц, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. Ведьма, увидевши себя вдруг в темноте, вскрикнула. Тут черт, подъехавши мелким бесом, подхватил ее под руку и пустился нашептывать на ухо то самое, что обыкновенно нашептывают всему женскому роду. Чудно устроено на нашем свете! Все, что ни живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого. Прежде, бывало, в Миргороде один судья да городничий хаживали зимою в крытых сукном тулупах, а все мелкое чиновничество носило просто нагольные; теперь же и заседатель и подкоморий отсмалили себе новые шубы из решетиловских смушек с суконною покрывкою. Канцелярист и волостной писарь третьего году взяли синей китайки по шести гривен аршин. Пономарь сделал себе нанковые на лето шаровары и жилет из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди! Когда эти люди не будут суетны! Можно побиться об заклад, что многим покажется удивительно видеть черта, пустившегося и себе туда же. Досаднее всего то, что он, верно, воображает себя красавцем, между тем как фигура – взглянуть совестно. Рожа, как говорит Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, однако ж и он строит любовные куры! Но на небе и под небом так сделалось темно, что ничего нельзя уже было видеть, что происходило далее между ними.

– Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате? – говорил

козак Чуб, выходя из дверей своей избы, сухощавому, высокому, в коротком тулупе, мужику с обросшею бородою, показывавшею, что уже более двух недель не прикасался к ней обломок косы, которым обыкновенно мужики бреют свою бороду за неимением бритвы. – Там теперь будет добрая попойка! – продолжал Чуб, ослабив при этом свое лицо. – Как бы только нам не опоздать.

При сем Чуб поправил свой пояс, перехватывавший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке кнут – страх и грозу докучливых собак; но, взглянув вверх, остановился...

– Что за дьявол! Смотри! смотри, Панас!..

– Что? – произнес кум и поднял свою голову также вверх.

– Как что? месяца нет!

– Что за пропасть! В самом деле нет месяца.

– То-то что нет, – выговорил Чуб с некоторою досадою на неизменное равнодушие кума. – Тебе небось и нужды нет.

– А что мне делать!

– Надобно же было, – продолжал Чуб, утирая рукавом усы, – какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось, собаке, поутру рюмки водки выпить, вмешаться!.. Право, как будто на смех... Нарочно, сидевши в хате, глядел в окно: ночь – чудо! Светло, снег блещет при месяце. Все было видно, как днем. Не успел выйти за дверь – и вот, хоть глаз выколи!

Чуб долго еще ворчал и бранился, а между тем в то же время раздумывал, на что бы решиться. Ему до смерти хо-

телось покалякать о всяком вздоре у дьяка, где, без всякого сомнения, сидел уже и голова, и приезжий бас, и дегтярь Микита, ездивший через каждые две недели в Полтаву на торги и отпускавший такие шутки, что все миряне брались за животы со смеху. Уже видел Чуб мысленно стоявшую на столе варенуху. Все это было заманчиво, правда; но темнота ночи напоминала ему о той лени, которая так мила всем козакам. Как бы хорошо теперь лежать, поджавши под себя ноги, на лежанке, курить спокойно люльку и слушать сквозь упоительную дремоту колядки и песни веселых парубков и девушек, толпящихся кучами под окнами. Он бы, без всякого сомнения, решился на последнее, если бы был один, но теперь обоим не так скучно и страшно идти темною ночью, да и не хотелось-таки показаться перед другими ленивым или трусливым. Окончивши побранки, обратился он снова к куму:

– Так нет, кум, месяца?

– Нет.

– Чудно, право! А дай понюхать табаку. У тебя, кум, славный табак! Где ты берешь его?

– Кой черт, славный! – отвечал кум, закрывая березовую тавлинку, исколотую узорами. – Старая курица не чихнет!

– Я помню, – продолжал все так же Чуб, – мне покойный шинкарь Зозуля раз привез табаку из Нежина. Эх, табак был! добрый табак был! Так что же, кум, как нам быть? ведь темно на дворе.

– Так, пожалуй, останемся дома, – произнес кум, ухватясь за ручку двери.

Если бы кум не сказал этого, то Чуб, верно бы, решился остаться, но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор.

– Нет, кум, пойдем! нельзя, нужно идти!

Сказавши это, он уже и досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь; но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал-таки не так, как ему советовали.

Кум, не выразив на лице своем ни малейшего движения досады, как человек, которому решительно все равно, сидеть ли дома или тащиться из дому, обсмотрелся, почесал палочкой батога свои плечи, и два кума отправились в дорогу.

Теперь посмотрим, что делает, оставшись одна, красавица дочка. Оксане не минуло еще и семнадцати лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки, только и речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда и не будет никогда на селе. Оксана знала и слышала все, что про нее говорили, и была капризна, как красавица. Если бы она ходила не в плахте и запаске, а в каком-нибудь капоте, то разогнала бы всех своих девок. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только куз-

нец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими.

По выходе отца своего она долго еще принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. «Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша? – говорила она, как бы рассеянно, для того только, чтобы об чем-нибудь поболтать с собою. – Лгут люди, я совсем не хороша». Но мелькнувшее в зеркале свежее, живое в детской юности лицо с блестящими черными очами и невыразимо приятной усмешкой, прожигавшей душу, вдруг доказало противное. «Разве черные брови и очи мои, – продолжала красавица, не выпуская зеркала, – так хороши, что уже равных им нет и на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе? и в щеках? и в губах? Будто хороши мои черные косы? Ух! их можно испугаться вечером: они, как длинные змеи, перевилились и обвилились вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша! – и, отодвигая несколько подальше от себя зеркало, вскрикнула: – Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною мой муж! Он не вспомнит себя. Он зацелует меня насмерть».

– Чудная девка! – прошептал вошедший тихо кузнец, – и хвастовства у нее мало! С час стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух!

«Да, парубки, вам ли чета я? вы поглядите на меня, –

продолжала хорошенькая кокетка, — как я плавно выступаю; у меня сорочка шита красным шелком. А какие ленты на голове! Вам век не увидать богаче галуна! Все это купил мне отец мой для того, чтобы на мне женился самый лучший молодец на свете!» И, усмехнувшись, поворотилась она в другую сторону и увидела кузнеца...

Вскрикнула и сурово остановилась перед ним.

Кузнец и руки опустил.

Трудно рассказать, что выражало смугловатое лицо чудной девушки: и суровость в нем была видна, и сквозь суровость какая-то издевка над смутившимся кузнецом, и едва заметная краска досады тонко разливалась по лицу; и все это так смешалось и так было неизобразимо хорошо, что расцеловать ее миллион раз — вот все, что можно было сделать тогда наилучшего.

— Зачем ты пришел сюда? — так начала говорить Оксана. — Разве хочется, чтобы выгнала за дверь лопатой? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. О, я знаю вас! Что, сундук мой готов?

— Будет готов, мое серденько, после праздника будет готов. Если бы ты знала, сколько возился около него: две ночи не выходил из кузницы; зато ни у одной поповны не будет такого сундука. Железо на оковку положил такое, какого не клал на сотникову таратайку, когда ходил на работу в Полтаву. А как будет расписан! Хоть весь околоток выходи своими беленькими ножками, не найдешь такого! По всему полю

будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Не сердись же на меня! Позволь хоть поговорить, хоть поглядеть на тебя!

– Кто же тебе запрещает, говори и гляди!

Тут села она на лавку и снова взглянула в зеркало и стала поправлять на голове свои косы. Взглянула на шею, на новую сорочку, вышитую шелком, и тонкое чувство самодовольствия выразилось на устах, на свежих ланитах и отсветилось в очах.

– Позволь и мне сесть возле тебя! – сказал кузнец.

– Садись, – проговорила Оксана, сохраняя в устах и в довольных очах то же самое чувство. – Чудная, ненаглядная Оксана, позволь поцеловать тебя! – произнес ободренный кузнец и прижал ее к себе, в намерении схватить поцелуй; но Оксана отклонила свои щеки, находившиеся уже на не приметном расстоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его.

– Чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна! Поди прочь, у тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня всю обмарал сажею.

Тут она поднесла зеркало и снова начала перед ним охорашиваться.

«Не любит она меня, – думал про себя, повеся голову, кузнец. – Ей все игрушки; а я стою перед нею как дурак и очей не свожу с нее. И все бы стоял перед нею, и век бы не сводил с нее очей! Чудная девка! чего бы я не дал, чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит! Но нет, ей и нужды нет

ни до кого. Она любит сама собою; мучит меня, бедного; а я за грустью не вижу света; а я ее так люблю, как ни один человек на свете не любил и не будет никогда любить».

– Правда ли, что твоя мать ведьма? – произнесла Оксана и засмеялась; и кузнец почувствовал, что внутри его все засмеялось. Смех этот как будто разом отозвался в сердце и в тихо встрепенувших жилах, и со всем тем досада запала в его душу, что он не во власти расцеловать так приятно засмеявшееся лицо.

– Что мне до матери? ты у меня мать, и отец, и все, что ни есть дорогого на свете. Если б меня призвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что ни есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе. Прикажу тебе сделать золотую кузницу, и станешь ты ковать серебряными молотами». – «Не хочу, – сказал бы я царю, – ни каменьев дорогих, ни золотой кузницы, ни всего твоего царства: дай мне лучше мою Оксану!»

– Видишь, какой ты! Только отец мой сам не промах. Увидишь, когда он не женится на твоей матери, – проговорила, лукаво усмехнувшись, Оксана. – Однако ж дивчата не приходят... Что б это значило? Давно уже пора колядовать. Мне становится скучно.

– Бог с ними, моя красавица!

– Как бы не так! с ними, верно, придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй!



– Так тебе весело с ними?

– Да уж веселее, чем с тобою. А! кто-то стукнул; верно, дивчата с парубками.

«Чего мне больше ждть? – говорил сам с собою кузнец. – Она издевается надо мною. Ей я столько же дорог, как перержавевшая подкова. Но если ж так, не достанется, по крайней мере, другому посмеяться надо мною. Пусть только я на-верное замечу, кто ей нравится более моего; я отучу...»

Стук в двери и резко зазвучавший на морозе голос: «Отвори!» – прервал его размышления.

– Постой, я сам отворю, – сказал кузнец и вышел в сени, в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку.

Мороз увеличился, и вверху так сделалось холодно, что черт перепрыгивал с одного копытца на другое и дул себе в кулак, желая сколько-нибудь отогреть мерзнувшие руки. Не мудрено, однако ж, и смерзнуть тому, кто толкался от утра до утра в аду, где, как известно, не так холодно, как у нас зимою, и где, надевши колпак и ставши перед очагом, будто в самом деле кухмистр, поджаривал он грешников с таким удовольствием, с каким обыкновенно баба жарит на Рождество колбасу.

Ведьма сама почувствовала, что холодно, несмотря на то что была тепло одета; и потому, поднявши руки кверху, оставила ногу и, приведши себя в такое положение, как чело-

век, летящий на коньках, не сдвинувшись ни одним суставом, спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу.

Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но так как это животное проворнее всякого франта в чулках, то не мудрено, что он наехал при самом входе в трубу на шею своей любовницы, и оба очутились в просторной печке между горшками.

Путешественница отодвинула потихоньку заслонку, поглядеть, не назвал ли сын ее Вакула в хату гостей, но, увидевши, что никого не было, выключая только мешки, которые лежали посреди хаты, вылезла из печки, скинула теплый кожух, оправилась, и никто бы не мог узнать, что она за минуту назад ездила на метле.

Мать кузнеца Вакулы имела от роду не больше сорока лет. Она была ни хороша, ни дурна собою. Трудно и быть хорошою в такие годы. Однако ж она так умела причаровать к себе самых степенных козаков (которым, не мешает, между прочим, заметить, мало было нужды до красоты), что к ней хаживал и голова, и дьяк Осип Никифорович (конечно, если дьячихи не было дома), и козак Корний Чуб, и козак Касьян Свербыгуз. И, к чести ее сказать, она умела искусно обходиться с ними. Ни одному из них и в ум не приходило, что у него есть соперник. Шел ли набожный мужик, или дворянин, как называют себя козаки, одетый в кобеняк с видлогою, в воскресенье в церковь или, если дурная погода, в шинок, —

как не зайти к Солохе, не поесть жирных с сметаною вареников и не поболтать в теплой избе с говорливой и угодливой хозяйкой. И дворянин нарочно для этого давал большой крюк, прежде чем достигал шинка, и называл это – заходить по дороге. А пойдет ли, бывало, Солоха в праздник в церковь, надевши яркую плахту с китайчатою запаскою, а сверх ее синюю юбку, на которой сзади нашиты были золотые усы, и станет прямо близ правого крылоса, то дьяк уже верно закашливался и прищуривал невольно в ту сторону глаза; голова гладил усы, заматывал за ухо оселедец и говорил стоявшему близ его соседу: «Эх, добрая баба! Черт-баба!»

Солоха кланялась каждому, и каждый думал, что она кланяется ему одному. Но охотник мешаться в чужие дела тотчас бы заметил, что Солоха была приветливее всего с козачком Чубом. Чуб был вдов; восемь скирд хлеба всегда стояли перед его хатою. Две пары дюжих волов всякий раз высовывали свои головы из плетеного сарая на улицу и мычали, когда завидывали шедшую куму – корову, или дядю – толстого быка. Бородатый козел взбирался на самую крышу и дребезжал оттуда резким голосом, как городничий, дразня выступавших по двору индеек и оборачиваясь задом, когда завидывал своих неприятелей, мальчишек, издевавшихся над его бородою. В сундуках у Чуба водилось много полотна, жупанов и старинных кунтушей с золотыми галунами: покойная жена его была щеголиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсолнечников, засевалось еще каждый год две нивы таба-

ку. Все это Солоха находила не лишним присоединить к своему хозяйству, заранее размышляя о том, какой оно примет порядок, когда перейдет в ее руки, и удвоивала благосклонность к старому Чубу. А чтобы каким-нибудь образом сын ее Вакула не подъехал к его дочери и не успел прибрать все-го себе, и тогда бы наверно не допустил ее мешаться ни во что, она прибегнула к обыкновенному средству всех сорока-летних кумушек: ссорить как можно чаще Чуба с кузнецом. Может быть, эти самые хитрости и сметливость ее были виною, что кое-где начали поговаривать старухи, особливо когда выпивали где-нибудь на веселой сходке лишнее, что Солоха точно ведьма; что парубок Кизяколупенко видел у нее сзади хвост величиною не более бабьего веретена; что она еще в позапрошлый четверг черною кошкою перебежала дорогу; что к попадье раз прибежала свинья, закричала петухом, надела на голову шапку отца Кондрата и убежала назад.

Случилось, что тогда, когда старушки толковали об этом, пришел какой-то коровий пастух Тымиш Коростявый. Он не преминул рассказать, как летом, перед самою Петровкою, когда он лег спать в хлеву, подмостивши под голову солому, видел собственными глазами, что ведьма, с распущенною ко-сою, в одной рубашке, начала доить коров, а он не мог пошевелинуться, так был околдован; подоивши коров, она пришла к нему и помазала его губы чем-то таким гадким, что он плевал после того целый день. Но все это что-то сомнительно, потому что один только сорочинский заседатель мо-

жет увидеть ведьму. И оттого все именитые козаки махали руками, когда слышали такие речи. «Брешут сучи бабы!» – бывал обыкновенный ответ их.

Вылезши из печки и оправившись, Солоха, как добрая хозяйка, начала убирать и ставить все к своему месту, но мешков не тронула: «Это Вакула принес, пусть же сам и вынесет!» Черт между тем, когда еще влетал в трубу, как-то нечаянно оборотившись, увидел Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель. В воздухе забелело. Снег метался взад и вперед сетью и угрожал залепить глаза, рот и уши пешеходам. А черт улетел снова в трубу, в твердой уверенности, что Чуб возвратится вместе с кумом назад, застанет кузнеца и отпотчует его так, что он долго будет не в силах взять в руки кисть и малевать обидные карикатуры.

В самом деле, едва только поднялась метель и ветер стал резать прямо в глаза, как Чуб уже изъявил раскаяние и, нахлобучивая глубже на голову капелюхи, угощал побранками себя, черта и кума. Впрочем, эта досада была притворная. Чуб очень рад был поднявшейся метели. До дьяка еще оставалось в восемь раз больше того расстояния, которое они прошли. Путешественники повернули назад. Ветер дул в затылок; но сквозь метущий снег ничего не было видно.

– Стой, кум! мы, кажется, не туда идем, – сказал, немно-

го отошедши, Чуб, – я не вижу ни одной хаты. Эх, какая метель! Свороти-ка ты, кум, немного в сторону, не найдешь ли дороги; а я тем временем поищу здесь. Дернет же нечистая сила потаскаться по такой выюге! Не забудь закричать, когда найдешь дорогу. Эх, какую кучу снега напустил в очи сатана!

Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедши в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так его обрадовала, что он позабыл все и, стряхнувши с себя снег, вошел в сени, нима-ло не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу; остановившись, принялся он кричать во все горло, но, видя, что кум не является, решился идти сам. Немного пройдя, увидел он свою хату. Сугробы снега лежали около нее и на крыше. Хлопая намерзнувшими на холоде руками, принялся он стучать в дверь и кричать повелительно своей дочери отпереть ее.

– Чего тебе тут нужно? – сурово закричал вышедший кузнец.

Чуб, узнавши голос кузнеца, отступил несколько назад. «Э, нет, это не моя хата, – говорил он про себя, – в мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не кузнецова. Чья бы была это хата? Вот на! не распознал! это хромого Левченка, который недавно женился на молодой жене. У него одного только хата похожа на мою. То-то мне показалось и сначала немного чудно, что так скоро пришел домой. Однако ж Левченко сидит теперь у дьяка,

это я знаю; зачем же кузнец?.. Э-ге-ге! он ходит к его молодой жене. Вот как! хорошо!.. теперь я все понял».

– Кто ты такой и зачем таскаешься под дверями? – произнес кузнец суровее прежнего и подойдя ближе.

«Нет, не скажу ему, кто я, – подумал Чуб, – чего доброго, еще приколотит, проклятый выродок!» – и, переменив голос, отвечал:

– Это я, человек добрый! пришел вам на забаву поколядовать немного под окнами.

– Убирайся к черту с своими колядками! – сердито закричал Вакула. – Что ж ты стоишь? Слышишь, убирайся сей же час вон!

Чуб сам уже имел это благоразумное намерение; но ему досадно показалось, что принужден слушаться приказаний кузнеца. Казалось, какой-то злой дух толкал его под руку и вынуждал сказать что-нибудь наперекор.

– Что ж ты, в самом деле, так раскричался? – произнес он тем же голосом, – я хочу колядовать, да и полно!

– Эге! да ты от слов не уймешься!.. – Вслед за сими словами Чуб почувствовал преобладающей удар в плечо.

– Да вот это ты, как я вижу, начинаешь уже драться! – произнес он, немного отступая.

– Пошел, пошел! – кричал кузнец, наградив Чуба другим толчком.

– Что ж ты! – произнес Чуб таким голосом, в котором изображалась и боль, и досада, и робость. – Ты, вижу, не в

шутку дерешься, и еще больно дерешься!

– Пошел, пошел! – закричал кузнец и захлопнул дверь.

– Смотри, как расхрабился! – говорил Чуб, оставшись один на улице. – Попробуй подойди! вишь, какой! вот большая цаца! Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик, я пойду, и пойду прямо к комиссару. Ты у меня будешь знать! Я не посмотрю, что ты кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спину и плечи: я думаю, синие пятна есть. Должно быть, больно поколотил, вражий сын! Жаль, что холодно и не хочется скинуть кожуха! Пстой ты, бесовский кузнец, чтоб черт поколотил и тебя, и твою кузницу, ты у меня напляшешься! Вишь, проклятый шибеник! Однако ж ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Гм... оно ведь недалеко отсюда; пойти бы! Время теперь такое, что нас никто не застанет. Может, и того, будет можно... Вишь, как больно поколотил проклятый кузнец!

Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. Приятность, ожидавшая его впереди при свидании с Солохою, умаливала немного боль и делала нечувствительным и самый мороз, который трещал по всем улицам, не заглушаемый вьюжным свистом. По временам на лице его, которого бороду и усы метель намылила снегом проворнее всякого цирюльника, тирански хватающего за нос свою жертву, показывалась полусладкая мина. Но если бы, однако ж, снег не крестил взад и вперед всего перед глазами, то долго еще можно было бы видеть, как Чуб останавливался, по-



чесывал спину, произносил: «Больно поколотил проклятый кузнец!» – и снова отправлялся в путь.

В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиною бородою летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась и месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по небу. Все осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Песни зазвенели, и под редкою хатою не толпились колядующие.

Чудно блещет месяц! Трудно рассказать, как хорошо потолкаться в такую ночь между кучею хохочущих и поющих девушек и между парубками, готовыми на все шутки и выдумки, какие может только внушить весело смеющаяся ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза еще живее горят щеки; а на шалости сам лукавый подталкивает сзади.

Кучи девушек с мешками вломились в хату Чуба, окружили Оксану. Крик, хохот, рассказы оглушили кузнеца. Все наперерыв спешили рассказать красавице что-нибудь новое, выгружали мешки и хвастались паляницами, колбасами, варениками, которых успели уже набрать довольно за свои колядки. Оксана, казалось, была в совершенном удовольствии

и радости, болтала то с той, то с другою и хохотала без умолку. С какой-то досадою и завистью глядел кузнец на такую веселость и на этот раз проклинал колядки, хотя сам бывал от них без ума.

– Э, Одарка! – сказала веселая красавица, оборотившись к одной из девушек, – у тебя новые черевички! Ах, какие хорошие! и с золотом! Хорошо тебе, Одарка, у тебя есть такой человек, который все тебе покупает; а мне некому достать такие славные черевички.

– Не тужи, моя ненаглядная Оксана! – подхватил кузнец, – я тебе достану такие черевички, какие редкая панночка носит.

– Ты? – сказала, скоро и надменно поглядев на него, Оксана. – Посмотрю я, где ты достанешь черевички, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица.

– Видишь, каких захотела! – закричала со смехом девичья толпа.

– Да, – продолжала гордо красавица, – будьте все вы свидетельницы: если кузнец Вакула принесет те самые черевички, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж.

Девушки увели с собою капризную красавицу.

– Смейся, смейся! – говорил кузнец, выходя вслед за ними. – Я сам смеюсь над собою! Думаю, и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит, – ну, Бог с ней! будто только на всем свете одна Оксана. Слава Богу, дивчат

много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? с нее никогда не будет доброй хозяйки; она только мастерица рядиться. Нет, полно, пора перестать дурачиться.

Но в самое то время, когда кузнец готовился быть решительным, какой-то злой дух проносил пред ним смеющийся образ Оксаны, говорившей насмешливо: «Достань, кузнец, царицыны черевички, выйду за тебя замуж!» Все в нем волновалось, и он думал только об одной Оксане.



Толпы колядующих, парубки особо, девушки особо, спешили из одной улицы в другую. Но кузнец шел и ничего не видал и не участвовал в тех веселостях, которые когда-то лю-

бил более всех.

Черт между тем не на шутку разнежился у Солохи: целовал ее руку с такими ужимками, как заседатель у поповны, брался за сердце, охал и сказал напрямик, что если она не согласится удовлетворить его страсти и, как водится, наградить, то он готов на все: кинется в воду, а душу отправит прямо в пекло. Солоха была не так жестока, притом же черт, как известно, действовал с нею заодно. Она таки любила видеть волочившуюся за собою толпу и редко бывала без компании; этот вечер, однако ж, думала провести одна, потому что все именитые обитатели села званы были на кутью к дьяку. Но все пошло иначе: черт только что представил свое требование, как вдруг послышался голос дюжего головы. Солоха побежала отворить дверь, а проворный черт влез в лежавший мешок.

Голова, страхнув с своих капелюх снег и выпивши из рук Солохи чарку водки, рассказал, что он не пошел к дьяку, потому что поднялась метель; а увидевши свет в ее хате, завернул к ней, в намерении провести вечер с нею.

Не успел голова это сказать, как в дверь послышался стук и голос дьяка.

– Спрячь меня куда-нибудь, – шептал голова. – Мне не хочется теперь встретиться с дьяком.

Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя; наконец выбрала самый большой мешок с углем; уголь высыпала в кадку, и дюжий голова влез с усами, с головою и

с капелюхами в мешок.

Дьяк вошел, покряхтывая и потирая руки, и рассказал, что у него не был никто и что он сердечно рад этому случаю погулять немного у нее и не испугался метели. Тут он подошел к ней ближе, кашлянул, усмехнулся, дотронулся своими длинными пальцами ее обнаженной полной руки и произнес с таким видом, в котором выказывалось и лукавство, и самодовольствие:

– А что это у вас, великолепная Солоха? – И, сказавши это, отскочил он несколько назад.

– Как что? Рука, Осип Никифорович! – отвечала Солоха.

– Гм! рука! хе! хе! хе! – произнес сердечно довольный своим началом дьяк и прошелся по комнате.

– А это что у вас, дражайшая Солоха? – произнес он с таким же видом, приступив к ней снова и схватив ее слегка рукою за шею, и таким же порядком отскочив назад.

– Будто не видите, Осип Никифорович! – отвечала Солоха. – Шея, а на шее монисто.

– Гм! на шее монисто! хе! хе! хе! – И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки.

– А это что у вас, несравненная Солоха?.. – Неизвестно, к чему бы теперь притронулся дьяк своими длинными пальцами, как вдруг послышался в дверь стук и голос козака Чуба.

– Ах, Боже мой, стороннее лицо! – закричал в испуге дьяк. – Что теперь, если застанут особу моего звания?.. Дойдет до отца Кондрата!..

Но опасения дьяка были другого рода: он боялся более того, чтобы не узнала его половина, которая и без того страшною рукою своею сделала из его толстой косы самую узенькую.

– Ради Бога, добродетельная Солоха, – говорил он, дрожа всем телом. – Ваша доброта, как говорит писание Луки глава трина... трин... Стучатся, ей-Богу, стучатся! Ох, спрячьте меня куда-нибудь!

Солоха высыпала уголь в кадку из другого мешка, и не слишком объемистый телом дьяк влез в него и сел на самое дно, так что сверх его можно было насыпать еще с полмешка угля.

– Здравствуй, Солоха! – сказал, входя в хату, Чуб. – Ты, может быть, не ожидала меня, а? правда, не ожидала? может быть, я помешал?.. – продолжал Чуб, показав на лице своем веселую и значительную мину, которая заранее давала знать, что неповоротливая голова его трудилась и готовилась отпустить какую-нибудь колкую и затейливую шутку. – Может быть, вы тут забавлялись с кем-нибудь?.. может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? – И, восхищенный таким своим замечанием, Чуб засмеялся, внутренне торжествуя, что он один только пользуется благосклонностью Солохи. – Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого морозу. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством! Как схватилась, слышишь, Солоха, как схватилась... эх окостенели руки: не расстегну ко-

жуха! как схватилась выюга...

– Отвори! – раздался на улице голос, сопровождаемый толчком в дверь.

– Стучит кто-то, – сказал остановившийся Чуб.

– Отвори! – закричали сильнее прежнего.

– Это кузнец! – произнес, схватясь за капелюхи, Чуб. – Слышишь, Солоха, куда хочешь девай меня; я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в копну величиною!

Солоха, испугавшись сама, металась как угорелая и, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъяснить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков.

Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе.

В то самое время, когда Солоха затворяла за ним дверь, кто-то постучался снова. Это был козак Свербыгуз. Этого уже нельзя было спрятать в мешок, потому что и мешка такого нельзя было найти. Он был погрузнее телом самого головы и повыше ростом Чубова кума. И потому Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все то, что он хотел ей объявить.

Кузнец рассеянно оглядывал углы своей хаты, вслушиваясь по временам в далеко разносившиеся песни колядующих; наконец остановил глаза на мешках: «Зачем тут лежат эти мешки? их давно бы пора убрать отсюда. Через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу!»

Тут кузнец присел к огромным мешкам, перевязал их крепче и готовился взвалить себе на плечи. Но заметно было, что его мысли гуляли Бог знает где, иначе он бы услышал, как зашипел Чуб, когда волоса на голове его прикрутила завязавшая мешок веревка, и дюжий голова начал было икать довольно явственно.

– Неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? – говорил кузнец, – не хочу думать о ней; а все думается, и, как нарочно, о ней одной только. Отчего это так, что дума против воли лезет в голову? Кой черт, мешки стали как будто тяжелее прежнего! Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я! я и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Прежде, бывало, я мог согнуть и разогнуть в одной руке медный пятак и лошадиную подкову; а теперь мешков с углем не подыму. Скоро буду от ветра валиться. Нет – вскричал он, помолчав и ободрившись, – что я за баба! Не дам никому смеяться над собою! Хоть десять таких мешков, все подыму. – И бодро взвалил себе на плеча мешки, которых не понесли бы два дюжих человека. – Взять и этот, – продолжал он, подымая маленький, на дне которого



лежал, свернувшись, черт. – Тут, кажется, я положил струмент свой. – Сказав это, он вышел вон из хаты, насвистывая песню:

Меш с жшкой не возиться.

Шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Толпы толкавшегося народа были увеличены еще пришедшими из соседних деревень. Парубки шалили и бесились вволю. Часто между колядками слышалась какая-нибудь веселая песня, которую тут же успел сложить кто-нибудь из молодых козаков. То вдруг один из толпы вместо колядки отпуская щедровку и ревел во все горло:

Щедрик, ведрик!  
Дайте вареник,  
Грудочку кашки,  
Кольце ковбаски!

Хохот награждал затейника. Маленькие окна подымались, и сухощавая рука старухи, которые одни только вместе с степенными отцами оставались в избах, высовывалась из окошка с колбасою в руках или куском пирога. Парубки и девушки наперерыв подставляли мешки и ловили свою добычу. В одном месте парубки, зашедши со всех сторон, окружали толпу девушек: шум, крик, один бросал комом снега, другой вырывал мешок со всякой всячиной. В другом месте девуш-

ки ловили парубка, подставляли ему ногу, и он летел вместе с мешком стремглав на землю. Казалось, всю ночь напролет готовы были повеселиться. И ночь, как нарочно, так роскошно теплилась! и еще белее казался свет месяца от блеска снега.

Кузнец остановился с своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули: бросивши на землю мешки так, что находившийся на дне дык заохал от ушибу и голова икнул во все горло, побрел он с маленьким мешком на плечах вместе с толпою парубков, шедших следом за девичьей толпою, между которою ему послышался голос Оксаны.

«Так, это она! стоит, как царица, и блестит черными очами! Ей рассказывает что-то видный парубок; верно, забавное, потому что она смеется. Но она всегда смеется». Как будто невольно, сам не понимая как, протерся кузнец сквозь толпу и стал около нее.

— А, Вакула, ты тут! здравствуй! — сказала красавица с той же самой усмешкой, которая чуть не сводила Вакулу с ума. — Ну, много наколядовал? Э, какой маленький мешок! А черевики, которые носит царица, достал? достань черевики, выйди замуж! — И, засмеявшись, убежала с толпою.

Как вкопанный стоял кузнец на одном месте. «Нет, не могу; нет сил больше... — произнес он наконец. — Но Боже Ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд, и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет... Нет, невмочь уже пе-

ресилить себя! Пора положить конец всему: пропадай душа, пойду утоплюсь в пролубе, и поминай как звали!»

Тут решительным шагом пошел он вперед, догнал толпу, поравнялся с Оксаною и сказал твердым голосом:

– Прощай, Оксана! Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь; а меня не увидишь уже больше на этом свете.

Красавица казалась удивленною, хотела что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убежал.

– Куда, Вакула? – кричали парубки, видя бегущего кузнеца.

– Прощайте, братцы! – кричал в ответ кузнец. – Даст бог, увидимся на том свете; а на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом! Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по моей грешной душе. Свечей к иконам Чудотворца и Божией Матери, грешен, не обмалевал за мирскими делами. Все добро, какое найдется в моей скрыне, на церковь! Прощайте!

Проговоривши это, кузнец принялся снова бежать с мешком на спине.

– Он повредился! – говорили парубки.

– Пропадшая душа! – набожно пробормотала проходившая мимо старуха. – Пойти рассказать, как кузнец повесился!

Вакула между тем, пробежавши несколько улиц, остановился перевести дух. «Куда я, в самом деле, бегу? – поду-

мал он, – как будто уже все пропало. Попробую еще средство: пойду к запорожцу Пузатому Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пойду, ведь душе все же придется пропадать!»

При этом черт, который долго лежал без всякого движения, запрыгал в мешке от радости; но кузнец, подумав, что он как-нибудь зацепил мешок рукою и произвел сам это движение, ударил по мешку дюжим кулаком и, встряхнув его на плечах, отправился к Пузатому Пацюку.

Этот Пузатый Пацюк был точно когда-то запорожцем; но выгнали его или он сам убежал из Запорожья, этого никто не знал. Давно уже, лет десять, а может, и пятнадцать, как он жил в Диканьке. Сначала он жил, как настоящий запорожец: ничего не работал, спал три четверти дня, ел за шестью косарей и выпивал за одним разом почти по целому ведру; впрочем, было где и поместиться, потому что Пацюк, несмотря на небольшой рост, в ширину был довольно увесист. Притом шаровары, которые носил он, были так широки, что какой бы большой ни сделал он шаг, ног было совершенно незаметно, и казалось – винокуренная кадь двигалась по улице. Может быть, это самое подало повод прозвать его Пузатым. Не прошло нескольких дней после прибытия его в село, как все уже узнали, что он знахарь. Бывал ли кто болен чем, тотчас призывал Пацюка; а Пацюку стоило только пошептать несколько слов, и недуг как будто рукою снимался. Случалось ли, что проголодавшийся дворянин подавился

рыбьей костью, Пацюк умел так искусно ударить кулаком в спину, что кость отправлялась куда ей следует, не причинив никакого вреда дворянскому горлу. В последнее время его редко видали где-нибудь. Причина этому была, может быть, лень, а может, и то, что пролезать в двери делалось для него с каждым годом труднее. Тогда миряне должны были отправляться к нему сами, если имели в нем нужду.

Кузнец не без робости отворил дверь и увидел Пацюка, сидевшего на полу по-турецки, перед небольшою кадушкою, на которой стояла миска с галушками. Эта миска стояла, как нарочно, наравне с его ртом. Не подвинувшись ни одним пальцем, он наклонил слегка голову к миске и хлебал жижу, схватывая по временам зубами галушки.

«Нет, этот, – подумал Вакула про себя, – еще ленивее Чуба: тот, по крайней мере, ест ложкою, а этот и руки не хочет поднять!»

Пацюк, верно, крепко занят был галушками, потому что, казалось, совсем не заметил прихода кузнеца, который, едва ступивши на порог, отвесил ему пренизкий поклон.

– Я к твоей милости пришел, Пацюк! – сказал Вакула, кланяясь снова.

Толстый Пацюк поднял голову и снова начал хлебать галушки.

– Ты, говорят, не во гнев будь сказано... – сказал, собираясь с духом, кузнец, – я веду об этом речь не для того, чтобы тебе нанести какую обиду, – приходишься немного сродни

черту.

Проговоря эти слова, Вакула испугался, подумав, что выразился все еще напрямик и мало смягчил крепкие слова, и, ожидая, что Пацюк, схвативши кадушку вместе с мискою, пошлет ему прямо в голову, отсторонился немного и закрылся рукавом, чтобы горячая жижа с галушек не обрызгала ему лица.

Но Пацюк взглянул и снова начал хлебать галушки. Ободренный кузнец решил продолжить:

– К тебе пришел, Пацюк, дай Боже тебе всего, добра всякого в довольствии, хлеба в пропорции! – Кузнец иногда умел ввернуть модное слово; в том он понаторел в бытность еще в Полтаве, когда размалевывал сотнику дощатый забор. – Пропадать приходится мне, грешному! ничто не помогает на свете! Что будет, то будет, приходится просить помощи у самого черта. Что ж, Пацюк? – произнес кузнец, видя неизменное его молчание, – как мне быть?

– Когда нужно черта, то и ступай к черту! – отвечал Пацюк, не подымая на него глаз и продолжая убирать галушки. – Для того-то я и пришел к тебе, – отвечал кузнец, отвешивая поклон, – кроме тебя, думаю, никто на свете не знает к нему дороги.

Пацюк ни слова и доедал остальные галушки.

– Сделай милость, человек добрый, не откажи! – наступал кузнец, – свинины ли, колбас, муки гречневой, ну, полотна, пшена или иного прочего, в случае потребности... как обык-

новенно между добрыми людьми водится... не поскупимся. Расскажи хоть, как, примерно сказать, попасть к нему на дорогу?

– Тому не нужно далеко ходить, у кого черт за плечами, – произнес равнодушно Пацюк, не изменяя своего положения.

Вакула уставил на него глаза, как будто бы на лбу его написано было изъяснение этих слов. «Что он говорит?» – безмолвно спрашивала его мина; а полуотверстый рот готовился проглотить, как галушку, первое слово. Но Пацюк молчал.

Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни кадушки перед ним не было; но вместо того на полу стояли две деревянные миски: одна была наполнена варениками, другая сметаною. Мысли его и глаза невольно устремились на эти кушанья. «Посмотрим, – говорил он сам себе, – как будет есть Пацюк вареники. Наклоняться он, верно, не захочет, чтобы хлебать, как галушки, да и нельзя: нужно вареник сперва обмакнуть в сметану».

Только что он успел это подумать, Пацюк разинул рот, поглядел на вареники и еще сильнее разинул рот. В это время вареник выплеснул из миски, шлепнул в сметану, перевернулся на другую сторону, подскочил вверх и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и снова разинул рот, и вареник таким же порядком отправился снова. На себя только принимал он труд жевать и проглатывать.

«Вишь, какое диво!» – подумал кузнец, разинув от удивления рот, и тот же час заметил, что вареник лезет и к нему

в рот, и уже вымазал губы сметаной. Оттолкнувши вареник и вытерши губы, кузнец начал размышлять о том, какие чудеса бывают на свете и до каких мудростей доводит человека нечистая сила, замечая притом, что один только Пацюк может помочь ему. «Поклонюсь ему еще, пусть растолкует хорошенько... Однако что за черт! ведь сегодня *голодная ку-тья*, а он ест вареники, вареники скоромные! Что я, в самом деле, за дурак, стою тут и греха набираюсь! Назад!» И набожный кузнец опрометью выбежал из хаты.

Однако ж черт, сидевший в мешке и заранее уже радовавшийся, не мог вытерпеть, чтобы ушла из рук его такая славная добыча. Как только кузнец опустил мешок, он выскочил из него и сел верхом на шею.

Мороз подрал по коже кузнеца; испугавшись и побледнев, не знал он, что делать; уже хотел перекреститься... Но черт, наклонив свое собачье рыльце ему на правое ухо, сказал:

– Это я – твой друг, все сделаю для товарища и друга! Денег дам сколько хочешь, – пискнул он ему в левое ухо. – Оксана будет сегодня же наша, – шепнул он, заворотивши свою морду снова на правое ухо.

Кузнец стоял, размышляя.

– Изволь, – сказал он наконец, – за такую цену готов быть твоим!

Черт всплеснул руками и начал от радости галопировать на шее кузнеца. «Теперь-то попался кузнец! – думал он про себя, – теперь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои ма-



леванья и небылицы, взводимые на чертей! Что теперь скажут мои товарищи, когда узнают, что самый набожнейший из всего села человек в моих руках?» Тут черт засмеялся от радости, вспомнивши, как будет дразнить в аде все хвостатое племя, как будет беситься хромым черт, считавшийся между ними первым на выдумки.

– Ну, Вакула! – пропищал черт, все так же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он не убежал, – ты знаешь, что без контракта ничего не делают.

– Я готов! – сказал кузнец. – У вас, я слышал, расписываются кровью; постой же, я достану в кармане гвоздь! – Тут он заложил назад руку – и хватъ черта за хвост.

– Вишь, какой шутник! – закричал, смеясь, черт. – Ну, полно, довольно уже шалить!

– Постой, голубчик! – закричал кузнец, – а вот это как тебе покажется? – При сем слове он сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягненок. – Постой же, – сказал он, стаскивая его за хвост на землю, – будешь ты у меня знать подучивать на грехи добрых людей и честных христиан! – Тут кузнец, не выпуская хвоста, вскочил на него верхом и поднял руку для крестного знамения.

– Помилуй, Вакула! – жалобно простонал черт, – все что для тебя нужно, все сделаю, отпусти только душу на покаяние: не клади на меня страшного креста!

– А, вот каким голосом запел, немец проклятый! Теперь я знаю, что делать. Вези меня сей же час на себе, слышишь,

неси, как птица!

– Куда? – произнес печальный черт.

– В Петембург, прямо к царице!

И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя поднимающимся на воздух.

Долго стояла Оксана, раздумывая о странных речах кузнеца. Уже внутри ее что-то говорило, что она слишком жестоко поступила с ним. Что, если он в самом деле решится на что-нибудь страшное? «Чего доброго! может быть, он с горя вздумает влюбиться в другую и с досады станет называть ее первою красавицей на селе? Но нет, он меня любит. Я так хороша! Он меня ни за что не променяет; он шалит, прикидывается. Не пройдет минут десять, как он, верно, придет поглядеть на меня. Я в самом деле сурова. Нужно ему дать, как будто нехотя, поцеловать себя. То-то он обрадуется!» И ветреная красавица уже шутила со своими подругами.

– Постойте, – сказала одна из них, – кузнец позабыл мешки свои; смотрите, какие страшные мешки! Он не по-нашему наколядовал: я думаю, сюда по целой четверти барана кидали; а колбасам и хлебам, верно, счету нет! Роскошь! целые праздники можно объедаться.

– Это кузнецовы мешки? – подхватила Оксана. – Утащим скорее их ко мне в хату и разглядим хорошенько, что он сюда наклал.

Все со смехом одобрили такое предложение.

– Но мы не поднимем их! – закричала вся толпа вдруг, сиюсь сдвинуть мешки.

– Пойстойте, – сказала Оксана, – побегим скорее за санками и отвезем на санках!

И толпа побегала за санками.

Пленникам сильно прискучило сидеть в мешках, несмотря на то что дьяк проткнул для себя пальцем порядочную дыру. Если бы еще не было народу, то, может быть, он нашел бы средство вылезти; но вылезть из мешка при всех, показать себя на смех... это удерживало его, и он решился ждать, слегка только покряхтывая под невежливыми сапогами Чуба. Чуб сам не менее желал свободы, чувствуя, что под ним лежит что-то такое, на котором сидеть страх было неловко. Но как скоро услышал решение своей дочери, то успокоился и не хотел уже вылезать, рассуждая, что к хате своей нужно пройти, по крайней мере, шагов с сотню, а может быть, и другую. Вылезши же, нужно оправиться, застегнуть кожух, подвязать пояс – сколько работы! да и капелюхи остались у Солохи. Пусть уж лучше дивчата доведут на санках. Но случилось совсем не так, как ожидал Чуб. В то время, когда дивчата побегали за санками, худощавый кум выходил из шинка расстроенный и не в духе. Шинкарка никаким образом не решалась ему верить в долг; он хотел было дожидаться, авось-либо придет какой-нибудь набожный дворянин и попотчует его; но, как нарочно, все дворяне оставались дома и, как честные христиане, ели кутью посреди своих домашних.

Размышляя о развращении нравов и о деревянном сердце жидовки, продающей вино, кум набрел на мешки и остановился в изумлении.

– Вишь, какие мешки кто-то бросил на дороге! – сказал он, осматриваясь по сторонам, – должно быть, тут и свинина есть. Полезло же кому-то счастье наколядовать столько всякой всячины! Экие страшные мешки! Положим, что они набиты гречаниками да коржами, и то *добре*. Хотя бы были тут одни паляницы, и то в *шмак*: жидовка за каждую паляницу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтобы кто не увидел. – Тут взвалил он себе на плеча мешок с Чубом и дьяком, но почувствовал, что он слишком тяжел. – Нет, одному будет тяжело нести, – проговорил он, – а вот, как нарочно, идет ткач Шапуваленко. Здравствуй, Остап!

– Здравствуй, – сказал, остановившись, ткач.

– Куда идешь?

– А так, иду, куда ноги идут.

– Помоги, человек добрый, мешки снести! кто-то колядовал, да и кинул посреди дороги. Добром поделимся пополам.

– Мешки? а с чем мешки, с книшами или паляницами?

– Да, думаю, всего есть.

Тут выдернули они наскоро из плетня палки, положили на них мешок и понесли на плечах.

– Куда ж мы понесем его? в шинок? – спросил дорогого ткач.

– Оно бы и я так думал, чтобы в шинок; но ведь проклятая жидовка не поверит, подумает еще, что где-нибудь украли; к тому же я только что из шинка. Мы отнесем его в мою хату. Нам никто не помешает: жинки нет дома.

– Да точно ли нет дома? – спросил осторожный ткач.

– Слава Богу, мы не совсем еще без ума, – сказал кум, – черт ли бы принес меня туда, где она. Она, думаю, протаскается с бабами до света.

– Кто там? – закричала кумова жена, услышав шум в сенях, произведенный приходом двух приятелей с мешком, и отворяя дверь.

Кум остолбенел.

– Вот тебе на! – произнес ткач, спустя руки.

Кумова жена была такого рода сокровище, каких немало на белом свете. Так же как и ее муж, она почти никогда не сидела дома и почти весь день пресмыкалась у кумушек и зажиточных старух, хвалила и ела с большим аппетитом и дралась только по утрам с своим мужем, потому что в это только время и видела его иногда. Хата их была вдвое старше шаровар волостного писаря, крыша в некоторых местах была без соломы. Плетня видны были одни остатки, потому что всякий выходивший из дому никогда не брал палки для собак, в надежде, что будет проходить мимо кумова огорода и выдернет любую из его плетня. Печь не топилась дня по три. Все, что ни напрашивала нежная супруга у добрых людей, прятала как можно подальше от своего мужа и часто

самоуправно отнимала у него добычу, если он не успевал ее пропить в шинке. Кум, несмотря на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать ей и оттого почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами, а дорогая половина, охая, плелась рассказывать старушкам о бесчинстве своего мужа и о претерпенных ею от него побоях.

Теперь можно себе представить, как были озадачены ткач и кум таким неожиданным явлением. Опустивши мешок, они заступили его собою и закрыли полами; но уже было поздно; кумова жена хотя и дурно видела старыми глазами, однако ж мешок заметила.

– Вот это хорошо! – сказала она с таким видом, в котором заметна была радость ястреба. – Это хорошо, что наколядовали столько! Вот так всегда делают добрые люди; только нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажите мне сейчас, слышите, покажите сей же час мешок ваш!

– Лысый черт тебе покажет, а не мы, – сказал, приосанясь, кум.

– Тебе какое дело? – сказал ткач, – мы наколядовали, а не ты.

– Нет, ты мне покажешь, негодный пьяница! – вскричала жена, ударив высокого кума кулаком в подбородок и продираясь к мешку.

Но ткач и кум мужественно отстояли мешок и заставили ее попятиться назад. Не успели они оправиться, как супруга выбежала в сени уже с кочергою в руках. Проворнохватила

кочергою мужа по рукам, ткача по спине и уже стояла возле мешка.

– Что мы допустили ее? – сказал ткач, очнувшись.

– Э, что мы допустили! а отчего ты допустил? – сказал хладнокровно кум.

– У вас кочерга, видно, железная! – сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. – Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пивкопы, – та ничего... не больно.

Между тем торжествующая супруга, поставив на пол каганец, развязала мешок и заглянула в него. Но, верно, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись.

– Э, да тут лежит целый кабан! – вскрикнула она, всплеснув от радости в ладоши.

– Кабан! слышишь, целый кабан! – толкал ткач кума. – А все ты виноват!

– Что ж делать! – произнес, пожимая плечами, кум.

– Как что? чего мы стоим? отнимем мешок! ну, приступай!

– Пошла прочь! пошла! это наш кабан! – кричал, выступая, ткач.

– Ступай, ступай, чертова баба! это не твое добро! – говорил, приближаясь, кум.

Супруга принялась снова за кочергу, но Чуб в это время вылез из мешка и стал посреди сеней, потягиваясь, как че-

ловек, только что пробудившийся от долгого сна.

Кумова жена вскрикнула, ударивши об полы руками, и все невольно разинули рты.

– Что ж она, дура, говорит: кабан! Это не кабан! – сказал кум, выпуча глаза.

– Вишь, какого человека кинуло в мешок! – сказал ткач, пятясь от испугу. – Хотя что хочешь говори, хоть тресни, а не обошлось без нечистой силы. Ведь он не пролезет в окошко!

– Это кум! – вскрикнул, взглядевшись, кум.

– А ты думал кто? – сказал Чуб, усмехаясь. – Что, славную я выкинул над вами штуку? А вы небось хотели меня съесть вместо свинины? Пойдите же, я вас порадуя: в мешке лежит еще что-то, – если не кабан, то, наверно, поросенок или иная живность. Подо мною беспрестанно что-то шевелилось.

Ткач и кум кинулись к мешку, хозяйка дома уцепилась с противной стороны, и драка возобновилась бы снова, если бы дьяк, увидевши теперь, что ему некуда скрыться, не выкарабкался из мешка.

Кумова жена, остолбенев, выпустила из рук ногу, за которую начала было тянуть дьяка из мешка.

– Вот и другой еще! – вскрикнул со страхом ткач, – черт знает как стало на свете... голова идет кругом... не колбас и не паляниц, а людей кидают в мешки!

– Это дьяк! – произнес изумившийся более всех Чуб. – Вот тебе на! ай да Солоха! посадить в мешок... То-то, я гляжу, у нее полная хата мешков... Теперь я все знаю: у нее в



каждом мешке сидело по два человека. А я думал, что она только мне одному... Вот тебе и Солоха!

Девушки немного удивились, не найдя одного мешка. «Нечего делать, будет с нас и этого», – лепетала Оксана. Все принялись за мешок и взвалили его на санки.

Голова решился молчать, рассуждая: если он закричит, чтобы его выпустили и развязали мешок, – глупые дивчата разбегутся, подумают, что в мешке сидит дьявол, и он останется на улице, может быть, до завтра.

Девушки между тем, дружно взявшись за руки, полетели, как вихорь, с санками по скрипучему снегу. Множество, шалая, садились на санки; другие взбирались на самого голову. Голова решился сносить все. Наконец приехали, отворили настежь двери в сенях и хате и с хохотом втащили мешок.

– Посмотрим, что-то лежит тут, – закричали все, бросившись развязывать.

Тут икотка, которая не переставала мучить голову во все время сидения его в мешке, так усилилась, что он начал икать и кашлять во все горло.

– Ах, тут сидит кто-то! – закричали все и в испуге бросились вон из дверей.

– Что за черт! куда вы мечетесь как угорелые? – сказал, входя в дверь, Чуб.

– Ах, батюшко! – произнесла Оксана, – в мешке сидит кто-то!

– В мешке? где вы взяли этот мешок?

– Кузнец бросил его посреди дороги, – сказали все вдруг.  
«Ну, так, не говорил ли я?..» – подумал про себя Чуб.

– Чего ж вы испугались? посмотрим. А ну-ка, чоловіче, прошу не погневиться, что не называем по имени и отчеству, вылезай из мешка!

Голова вылез.

– Ах! – вскрикнули девушки.

– И голова влез туда же, – говорил про себя Чуб в недоумении, меряя его с головы до ног, – вишь как!.. Э!.. – более он ничего не мог сказать.

Голова сам был не меньше смущен и не знал, что начать.

– Должно быть, на дворе холодно? – сказал он, обращаясь к Чубу.

– Морозец есть, – отвечал Чуб. – А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?

Он хотел не то сказать, он хотел спросить: «Как ты, голова, залез в этот мешок?» – но сам не понимал, как выговорил совершенно другое.

– Дегтем лучше! – сказал голова. – Ну, прощай, Чуб! – И, нахлобучив капелюхи, вышел из хаты.

– Для чего спросил я сдуру, чем он мажет сапоги! – произнес Чуб, поглядывая на двери, в которые вышел голова. – Ай да Солоха! эдакого человека засадить в мешок!.. Вишь, чертова баба! А я дурак... да где же тот проклятый мешок?

– Я кинула его в угол, там больше ничего нет, – сказала

Оксана. – Знаю я эти штуки, ничего нет! подайте его сюда: там еще один сидит! встряхните его хорошенько... Что, нет? Вишь, проклятая баба! А поглядеть на нее – как святая, как будто и скромного никогда не брала в рот.

Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу, потому что уже на дворе, верно, есть час девятый.

Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу, и пролетел как муха под самым месяцем так, что если бы не наклонился немного, то зацепил бы его шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Его забавляло до крайности, как черт чихал и кашлял, когда он снимал с шеи кипарисный крестик и подносил к нему. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Все было светло в вышине. Воздух в легком серебряном тумане был прозрачен. Все было видно, и даже можно было заметить, как вихрем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун; как звезды, собравшись в кучу, играли в жмурки; как клубился в стороне облаком целый рой духов; как плясавший при месяце черт снял шапку, увидавши кузнеца, скачущего верхом; как летела возвращавшаяся назад метла, на которой, видно, только что съездила куда нужно ведьма... много еще дряни встречали они. Всё, видя кузнеца, на минуту останавливалось поглядеть на него и потом снова несло дальше и

продолжало свое; кузнец все летел; и вдруг заблестел перед ним Петербург весь в огне. (Тогда была по какому-то случаю иллюминация.) Черт, перелетев через шлагбаум, оборотился в коня, и кузнец увидел себя на лихом бегуне среди улицы.

Боже мой! стук, гром, блеск; по обеим сторонам громоздятся четырехэтажные стены; стук копыт коня, звук колеса отзывались громом и отдавались с четырех сторон; дома росли и будто подымались из земли на каждом шагу; мосты дрожали; кареты летали; извозчики, фореиторы кричали; снег свистел под тысячью летящих со всех сторон саней; пешеходы жались и теснились под домами, униженными площадками, и огромные тени их мелькали по стенам, достгая головой труб и крыш. С изумлением оглядывался кузнец на все стороны. Ему казалось, что все дома устремили на него свои бесчисленные огненные очи и глядели. Господ в крытых сукном шубах он увидел так много, что не знал, кому шапку снимать. «Боже ты мой, сколько тут панства! — подумал кузнец. — Я думаю, каждый, кто ни пройдет по улице в шубе, то и заседатель, то и заседатель! а те, что катаются в таких чудных бричках со стеклами, те когда не городничие, то, верно, комиссары, а может, еще и больше». Его слова прерваны были вопросом черта: «Прямо ли ехать к царице?» «Нет, страшно, — подумал кузнец. — Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице; все бы таки посоветоваться с ними».

– Эй, сатана, полезай ко мне в карман да веди к запорожцам!

Черт в одну минуту похудел и сделался таким маленьким, что без труда влез к нему в карман. А Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом, вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевши убранную комнату; но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку, сидевших на шелковых диванах, поджав под себя намазанные дегтем сапоги, и куривших самый крепкий табак, называемый обыкновенно корешками.

– Здравствуйте, панове! помогай Бог вам! вот где увиделись! – сказал кузнец, подошедши близко и отвесивши поклон до земли.

– Что там за человек? – спросил сидевший перед самым кузнецом другого, сидевшего подальше.

– А вы не poznали? – сказал кузнец, – это я, Вакула, кузнец! Когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого два дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки!

– А! – сказал тот же запорожец, – это тот самый кузнец, который малюет важно. Здорово, земляк, зачем тебя Бог принес?

– А так, захотелось поглядеть, говорят...

– Что ж, земляк, – сказал, приосанясь, запорожец и желая

показать, что он может говорить и по-русски, – што балшой город?

Кузнец и себе не хотел осрамиться и показаться новичком, притом же, как имели случай видеть выше сего, он знал и сам грамотный язык.

– Губерния знатная! – отвечал он равнодушно. – Нечего сказать: дома балшущие, картины висят скрозь важные. Многие дома исписаны буквами из сусального золота до чрезвычайности. Нечего сказать, чудная пропорция!



Запорожцы, услышавши кузнеца, так свободно изъясняю-

щегося, вывели заключение очень для него выгодное.

– После потолкуем с тобою, земляк, побольше; теперь же мы едем сейчас к царице.

– К царице? А будьте ласковы, панове, возьмите и меня с собою!

– Тебя? – произнес запорожец с таким видом, с каким говорит дядька четырехлетнему своему воспитаннику, просящему посадить его на настоящую, на большую лошадь. – Что ты будешь там делать? Нет, не можно. – При этом на лице его выразилась значительная мина. – Мы, брат, будем с царицею толковать про свое.

– Возьмите! – настаивал кузнец. – Проси! – шепнул он тихо черту, ударив кулаком по карману.

Не успел он этого сказать, как другой запорожец проговорил:

– Возьмем его, в самом деле, братцы!

– Пожалуй, возьмем! – произнесли другие.

– Надевай же платье такое, как и мы.

Кузнец схватился натянуть на себя зеленый жупан, как вдруг дверь отворилась и вошедший с позументами человек сказал, что пора ехать.

Чудно снова показалось кузнецу, когда он понесся в огромной карете, качаясь на рессорах, когда с обеих сторон мимо его бежали назад четырехэтажные дома и мостовая, гремя, казалось, сама катилась под ноги лошадям.

«Боже Ты мой, какой свет! – думал про себя кузнец. – У

нас днем не бывает так светло».

Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подыматься на блистательно освещенную лестницу.

– Что за лестница! – шептал про себя кузнец, – жаль ногами топтать. Экие украшения! Вот, говорят, лгут сказки! кой черт лгут! Боже ты мой, что за перила! какая работа! тут одного железа рублей на пятьдесят пошло!

Уже взобравшись на лестницу, запорожцы прошли первую залу. Робко следовал за ними кузнец, опасаясь на каждом шагу поскользнуться на паркете. Прошли три залы, кузнец все еще не переставал удивляться. Вступивши в четвертую, он невольно подошел к висевшей на стене картине. Это была Пречистая Дева с Младенцем на руках. «Что за картина! что за чудная живопись! – рассуждал он, – вот, кажется, говорит! кажется, живая! а Дитя Святое! и ручки прижало! и усмехается, бедное! а краски! Боже ты мой, какие краски! тут вохры, я думаю, и на копейку не пошло, все ярь да бакан: а голубая так и горит! важная работа! должно быть, грунт наведен был блейвасом. Сколь, однако ж, ни удивительны сии малевания, но эта медная ручка, – продолжал он, подходя к двери и щупая замок, – еще большего достоинства удивления. Эк какая чистая выделка! это всё, я думаю, немецкие кузнецы, за самые дорогие цены делали...»

Может быть, долго еще бы рассуждал кузнец, если бы лачкей с галунами не толкнул его под руку и не напомнил, что-



бы он не отставал от других. Запорожцы прошли еще две залы и остановились. Тут велено им было дожидаться. В зале толпилось несколько генералов в шитых золотом мундирах. Запорожцы поклонились на все стороны и стали в кучу.

Минуту спустя вошел в сопровождении целой свиты величественного роста, довольно плотный человек в гетьманском мундире, в желтых сапожках. Волосы на нем были растрепаны, один глаз немного крив, на лице изображалась какая-то надменная величественность, во всех движениях видна была привычка повелевать. Все генералы, которые расхаживали довольно спесиво в золотых мундирах, засуетились и с низкими поклонами, казалось, ловили его каждое слово и даже малейшее движение, чтобы сейчас лететь выполнять его. Но гетьман не обратил даже и внимания, едва кивнул головою и подошел к запорожцам. Запорожцы отвесили все поклон в ноги.

— Все ли вы здесь? — спросил он протяжно, произнося слова немного в нос.

— *Та вси, батько!* — отвечали запорожцы, кланяясь снова.

— Не забудете говорить так, как я вас учил?

— Нет, батько, не позабудем.

— Это царь? — спросил кузнец одного из запорожцев.

— Куда тебе царь! это сам Потемкин, — отвечал тот.

В другой комнате слышались голоса, и кузнец не знал, куда деть свои глаза от множества вошедших дам в атласных платьях с длинными хвостами и придворных в шитых

золотом кафтанах и с пучками назади. Он только видел один блеск и больше ничего. Запорожцы вдруг все пали на землю и закричали в один голос:

– Помилуй, мамо! Помилуй!

Кузнец, не видя ничего, растянулся и сам со всем усердием на полу.

– Встаньте, – прозвучал над ними повелительный и вместе с тем приятный голос. Некоторые из придворных засуетились и толкали запорожцев.

– Не встанем, мамо! не встанем! умрем, а не встанем! – кричали запорожцы.

Потемкин кусал себе губы, наконец подошел сам и повелительно шепнул одному из запорожцев. Запорожцы поднялись.

Тут осмелился и кузнец поднять голову и увидел стоявшую перед собою небольшого роста женщину, несколько даже дородную, напудренную, с голубыми глазами и вместе с тем величественно улыбающимся видом, который так умел покорять себе все и мог только принадлежать одной царствующей женщине.

– Светлейший обещал меня познакомить сегодня с моим народом, которого я до сих пор еще не видела, – говорила дама с голубыми глазами, рассматривая с любопытством запорожцев. – Хорошо ли вас здесь содержат? – продолжала она, подходя ближе.

– *Та спасибі, мамо!* Провиянт дают хороший, хотя бараны

здешние совсем не то, что у нас на Запорожье, – почему ж не жить как-нибудь?..

Потемкин поморщился, видя, что запорожцы говорят совершенно не то, чему он их учил...

Один из запорожцев, приосанясь, выступил вперед:

– Помилуй, мамо! зачем губишь верный народ? чем прогневили? Разве держали мы руку поганого татарина; разве соглашались в чем-либо с турчином; разве изменили тебе делом или помышлением? За что ж немилость? Прежде слышали мы, что приказываешь везде строить крепости от нас; после слышали, что хочешь *поворотить в карабинеры*; теперь слышим новые напасти. Чем виновато запорожское войско? тем ли, что перевело твою армию чрез Перекоп и помогло твоим енералам порубать крымцев?..

Потемкин молчал и небрежно чистил небольшою щеточкою свои бриллианты, которыми были унижены его руки.

– Чего же хотите вы? – заботливо спросила Екатерина. Запорожцы значительно взглянули друг на друга. «Теперь пора! Царица спрашивает, чего хотите!» – сказал сам себе кузнец и вдруг повалился на землю.

– Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать! Из чего, не во гнев будь сказано вашей царской милости, сделаны черевички, что на ногах ваших? Я думаю, ни один швец ни в одном государстве на свете не сумеет так сделать. Боже Ты мой, что, если бы моя жинка надела такие черевички!

Государыня засмеялась. Придворные засмеялись тоже. Потемкин и хмурился и улыбался вместе. Запорожцы начали толкать под руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел.

– Встань! – сказала ласково государыня. – Если так тебе хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки самые дорогие, с золотом! Право, мне очень нравится это простодушие! Вот вам, – продолжала государыня, устремив глаза на стоявшего подальше от других средних лет человека с полным, но несколько бледным лицом, которого скромный кафтан с большими перламутровыми пуговицами показывал, что он не принадлежал к числу придворных, – предмет, достойный остроумного пера вашего!

– Вы, ваше императорское величество, слишком милостивы. Сюда нужно, по крайней мере, Лафонтена! – отвечал, поклонясь, человек с перламутровыми пуговицами.

– По чести скажу вам: я до сих пор без памяти от вашего «Бригадира». Вы удивительно хорошо читаете! Однако ж, – продолжала государыня, обращаясь снова к запорожцам, – я слышала, что на Сечи у вас никогда не женятся.

– *Як же, мамо!* ведь человеку, сама знаешь, без жинки нельзя жить, – отвечал тот самый запорожец, который разговаривал с кузнецом, и кузнец удивился, слыша, что этот запорожец, зная так хорошо грамотный язык, говорит с царицею, как будто нарочно, самым грубым, обыкновенно называемым мужицким наречием. «Хитрый народ! – подумал

он сам себе, – верно, недаром он это делает».

– Мы не чернецы, – продолжал запорожец, – а люди грешные. Падки, как и все честное христианство, до скромного. Есть у нас не мало таких, которые имеют жен, только не живут с ними на Сечи. Есть такие, что имеют жен в Польше; есть такие, что имеют жен в Украине; есть такие, что имеют жен и в Турещине.

В это время кузнецу принесли башмаки.

– Боже ты мой, что за украшение! – вскрикнул он радостно, ухватив башмаки. – Ваше царское величество! Что ж, когда башмаки такие на ногах, и в них чаятельно, ваше благородие, ходите и на лед *ковзаться*, какие ж должны быть самые ножки? думаю, по малой мере из чистого сахара.

Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог похвастаться красавцем, несмотря на смуглое лицо.

Обрадованный таким благосклонным вниманием, кузнец уже хотел было расспросить хорошенько царицу о всем: правда ли, что цари едят один только мед да сало, и тому подобное; но, почувствовав, что запорожцы толкают его под бока, решил замолчать; и когда государыня, обратившись к старикам, начала спрашивать, как у них живут на Сечи, какие обычаи водятся, – он, отошедши назад, нагнулся к карману, сказал тихо: «Выноси меня отсюда скорее!» – и

вдруг очутился за шлагбаумом.

– Утонул! ей-Богу, утонул! вот чтобы я не сошла с этого места, если не утонул! – лепетала толстая ткачиха, стоя в куче диканьских баб посередине улицы.

– Что ж, разве я лгунья какая? разве я у кого-нибудь корову украду? разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры? – кричала баба в козацкой свитке, с фиолетовым носом, размахивая руками. – Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая Переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец!

– Кузнец повесился? вот тебе на! – сказал голова, выходящий от Чуба, остановился и протеснился ближе к разговаривавшим.

– Скажи лучше, чтоб тебе водки не захотелось пить, старая пьяница! – отвечала ткачиха, – нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься! Он утонул! утонул в пролуде! Это я так знаю, как то, что ты была сейчас у шинкари.

– Срамница! Вишь, чем стала попрекать? – гневно возразила баба с фиолетовым носом. – Молчала бы, негодница! Разве я не знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер?

Ткачиха вспыхнула.

– Что дьяк? к кому дьяк? что ты врешь?

– Дьяк? – пропела, теснясь к спорившим, дьячиха, в тулупе из заячьего меха, крытом синею китайкой. – Я дам знать

дьяка! Кто это говорит – дьяк?

– А вот к кому ходит дьяк! – сказала баба с фиолетовым носом, указывая на ткачиху.

– Так это ты, сука, – сказала дьячиха, подступая к ткачихе, – так это ты, ведьма, напускаешь ему туман и поишь нечистым зельем, чтобы ходил к тебе?

– Отвяжись от меня, сатана! – говорила, пятясь, ткачиха.

– Вишь, проклятая ведьма, чтоб ты не дождала детей своих видеть, негодная! Тьфу!.. – Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе.

Ткачиха хотела и себе сделать то же, но вместо того плюнула в небритую бороду голове, который, чтобы лучше все слышать, подобрался к самим спорившим.

– А, скверная баба! – закричал голова, обтирая полою лицо и поднявши кнут. Это движение заставило всех разойтись с ругательствами в разные стороны. – Экая мерзость! – повторял он, продолжая обтираться. – Так кузнец утонул! Боже Ты мой, а какой важный живописец был! какие ножи крепкие, серпы, плуги умел выковывать! Что за сила была! Да, – продолжал он, задумавшись, – таких людей мало у нас на селе. То-то я, еще сидя в проклятом мешке, замечал, что бедняжка был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец! был, а теперь и нет! А я собирался было подковать свою рябую кобылу!..

И, будучи полон таких христианских мыслей, голова тихо побрел в свою хату.

Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам Переперчихи и толкам баб; она знала, что кузнец довольно набожен, чтобы решиться погубить свою душу. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте где найдется такой молодец, как кузнец! Он же так любил ее! Он долее всех выносил ее капризы! Красавица всю ночь под своим одеялом поворачивалась с правого бока на левый, с левого на правый – и не могла заснуть. То, разметавшись в обворожительной наготе, которую ночной мрак скрывал даже от нее самой, она почти вслух бранила себя; то, приутихнув, решалась ни о чем не думать – и все думала. И вся горела; и к утру влюбилась по уши в кузнеца.

Чуб не изъявил ни радости, ни печали об участии Вакулы. Его мысли заняты были одним: он никак не мог позабыть вероломства Солохи и сонный не переставал бранить ее.





Настало утро. Вся церковь еще до света была полна народа. Пожилые женщины в белых намитках, в белых суконных свитках набожно крестились у самого входа церковного. Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные даже в синих кунтушах с золотыми назади усами, стояли впереди их. Дивчата, у которых на головах намотана была целая лавка лент, а на шее монист, крестов и дукатов, старались пробраться еще ближе к иконостасу. Но впереди всех были дворяне и простые мужики с усами, с чубами, с толстыми шеями и только что выбритыми подбородками, все большею ча-

стию в кобеняхах, из-под которых выказывалась белая, а у иных и синяя свитка. На всех лицах, куда ни взглянь, виден был праздник. Голова облизывался, воображая, как он разговееется колбасою; дивчата помышляли о том, как они будут *ковзаться с хлопцами* на льду; старухи усерднее, нежели когда-либо, шептали молитвы. По всей церкви слышно было, как козак Свербыгуз клал поклоны. Одна только Оксана стояла как будто не своя: молилась и не молилась. На сердце у нее столпилось столько разных чувств, одно другого досаднее, одно другого печальнее, что лицо ее выражало одно только сильное смущение; слезы дрожали на глазах. Дивчата не могли понять этому причины и не подозревали, чтобы виною был кузнец. Однако ж не одна Оксана была занята кузнецом. Все миряне заметили, что праздник – как будто не праздник; что как будто все чего-то недостает. Как на беду, дьяк после путешествия в мешке охрип и дребезжал едва слышным голосом; правда, приезжий певчий славно брал баса, но куда бы лучше, если бы и кузнец был, который всегда, бывало, как только пели «Отче наш» или «Иже херувимы», всходил на крылос и выводил оттуда тем же самым напевом, каким поют и в Полтаве. К тому же он один исправлял должность церковного титара. Уже отошла заутреня; после заутрени отошла обедня... куда же это, в самом деле, пропастился кузнец?

Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с куз-

нецом назад. И мигом очутился Вакула около своей хаты. В это время пропел петух. «Куда? – закричал он, ухватя за хвост хотевшего убежать черта, – постой, приятель, еще не все: я еще не поблагодарил тебя». Тут, схвативши хворостину, отвесил он ему три удара, и бедный черт припустил бежать, как мужик, которого только что выпарил заседатель. Итак, вместо того чтобы провести, соблазнить и одурачить других, враг человеческого рода был сам одурачен. После сего Вакула вошел в сени, зарылся в сено и проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, когда увидел, что солнце уже высоко: «Я проспал заутреню и обедню!» Тут благочестивый кузнец погрузился в уныние, рассуждая, что это, верно, Бог нарочно, в наказание за грешное его намерение погубить свою душу, наслал сон, который не дал даже ему побывать в такой торжественный праздник в церкви. Но, однако ж, успокоив себя тем, что в следующую неделю исповедается в этом попу и с сегодняшнего же дня начнет бить по пятидесяти поклонов через весь год, заглянул он в хату; но в ней не было никого. Видно, Солоха еще не возвращалась. Бережно вынул он из пазухи башмаки и снова изумился дорогой работе и чудному происшествию минувшей ночи; умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, которой не надевал еще ни разу с того времени, как купил ее еще в бытность в Полтаве; вынул также новый всех цветов пояс; положил все это вместе с на-

гайкою в платок и отправился прямо к Чубу.

Чуб выпучил глаза, когда вошел к нему кузнец, и не знал, чему дивиться: тому ли, что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел к нему прийти, или тому, что он нарядился таким щеголем и запорожцем. Но еще больше изумился он, когда Вакула развязал платок и положил перед ним новехонькую шапку и пояс, какого не видано было на всем селе, а сам повалился ему в ноги и проговорил умоляющим голосом:

– Помилуй, батько! не гневись! вот тебе и нагайка: бей, сколько душа пожелает, отдаюсь сам; во всем каюсь; бей, да не гневись только! Ты ж когда-то брался с покойным батьком, вместе хлеб-соль ели и магарыч пили.

Чуб не без тайного удовольствия видел, как кузнец, который никому на селе в ус не дул, сгибал в руке пятаки и подковы, как гречневые блины, тот самый кузнец лежал у ног его. Чтоб еще больше не уронить себя, Чуб взял нагайку и ударил его три раза по спине.

– Ну, будет с тебя, вставай! старых людей всегда слушай! Забудем все, что было меж нами! Ну, теперь говори, чего тебе хочется?

– Отдай, батько, за меня Оксану!

Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс: шапка была чудная, пояс также не уступал ей; вспомнил о вероломной Солохе и сказал решительно:

– *Добре!* присылай сватов!

– Ай! – вскрикнула Оксана, переступив через порог и уви-

дев кузнеца, и вперила с изумлением и радостью в него очи.

– Погляди, какие я тебе принес черевики! – сказал Вакула, – те самые, которые носит царица.

– Нет! нет! мне не нужно черевиков! – говорила она, махая руками и не сводя с него очей, – я и без черевиков... – Далее она не договорила и покраснела.

Кузнец подошел ближе, взял ее за руку; красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.

Проезжал через Диканьку блаженной памяти архиерей, хвалил место, на котором стоит село, и, проезжая по улице, остановился перед новою хатою.

– А чья это такая размалеванная хата? – спросил преосвященный у стоявшей близ дверей красивой женщины с дитятей на руках.

– Кузнеца Вакулы, – сказала ему, кланяясь, Оксана, потому что это именно была она.

– Славно! славная работа! – сказал преосвященный, разглядывая двери и окна. А окна все были обведены кругом красною краскою; на дверях же везде были козаки на лошадях, с трубками в зубах.

Но еще больше похвалил преосвященный Вакулу, когда узнал, что он выдержал церковное покаяние и выкрасил даром весь левый крылос зеленою краскою с красными цвета-

ми. Это, однако ж, не все: на стене сбоку, как войдешь в церковь, намалевал Вакула черта в аду, такого гадкого, что все плевали, когда проходили мимо; а бабы, как только расплакивалось у них на руках дитя, подносили его к картине и говорили: *«Он бачь, яка кака намалевана!»* – и дитя, удерживая слезенки, косилось на картину и жалось к груди своей матери.

*1829–1832*

**Ф. М. Достоевский**  
**Мальчик у Христа на елке**  
*Из «Дневника писателя»*



...я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется» ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне всё мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне Рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но еще очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала со своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили еще два дня тому в полицию; жильцы разбредлись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мертво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к ее углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашел и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему наконец в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», – подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб



отогреть их, и вдруг нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ошупью, пошел из подвала. Он еще бы и раньше пошел, да всё боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

— Господи, какой город! Никогда еще он не видал ничего такого. Там, откуда он приехал, по ночам такой черный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется — никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь — Господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, Господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица, — ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это елка, а на елке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют

что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеется, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие – миндальные, красные, желтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придет, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошел. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать ее. Выбежал мальчик и пошел поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берет его, потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, Господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся; на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зеленые платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и

губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, – только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, – вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, – и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страха и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, – подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, – совсем как живые!» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. – Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!

– Пойдем ко мне на елку, мальчик, – прошептал над ним вдруг тихий голос. Он подумал было, что это всё его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и... и вдруг, – о, какой свет! О, какая елка! Да и

не елка это, он и не видал еще таких деревьев! Где это он теперь: всё блестит, всё сияет и кругом всё куколки, – но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеется на него радостно.

– Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! – кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом. – Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? – спрашивает он, смеясь и любя их.

– Это Христова елка, – отвечают они ему. – У Христа всегда в этот день елка для маленьких деточек, у которых там нет своей ёлки... – И узнал он, что мальчики эти и девочки все были всё такие же, как он, дети, но одни замерзли еще в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие Задохлись у чухонки, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей (во время самарского голода), четвертые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей... А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнаёт своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слезы своими ручками и упрощают их не плакать, потому что им здесь так хорошо... А внизу,

наутро, дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму... Та умерла еще прежде его; оба свиделись у Господа Бога на Небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не идущую в обыкновенный разумный дневник, да еще писателя? А еще обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне всё кажется и мерещится, что всё это могло случиться действительно, – то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там об елке у Христа – уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

# Н. С. Лесков

## Христос в гостях у мужика



Настоящий рассказ о том, как сам Христос приходил на Рождество к мужику в гости и чему его выучил, я сам слышал от одного старого сибиряка, которому это событие было близко известно. Что он мне рассказывал, то я и вам передам его же словами.

Наше место поселенное, но хорошее, торговое место. Отец мой в эти места прибыл за крепостное время в России,

а я тут и родился. Имели достатки по своему положению довольные и теперь не бедствуем. Веру держим простую, русскую. Отец был начитан и меня к чтению приохотил. Который человек науку любил, тот был мне первый друг, и я готов был за него в огонь и в воду. И вот послал мне один раз Господь в утешение приятеля Тимофея Осиповича, про которого я и хочу вам рассказать, как с ним чудо было. Тимофеем Осипов прибыл к нам в молодых годах. Мне было тогда восемнадцать лет, а ему, может быть, с чем-нибудь за двадцать. Поведения Тимоша был самого непостыдного. За что он прибыл по суду за поселение – об этом по нашему положению, щадя человека, не спрашивают, но слышно было, что его дядя обидел. Опекуном был в его сиротство да и растратил, или взял, почти все наследство. А Тимофеем Осипов за то время был по молодым годам нетерпеливый, вышла у них с дядей ссора, и ударил он дядю оружием. По милосердию Создателя, грех сего безумия не до конца совершился – Тимофей только ранил дядю в руку насквозь. По молодости Тимофея большого наказания ему не было, как из первогильдийных купцов сослан он к нам на поселение.

Именье Тимошино хотя девять частей было разграблено, но, однако, и с десятою частью еще жить было можно. Он у нас построил дом и стал жить, но в душе у него обида кипела, и долго он от всех сторонился. Сидел всегда дома, и батрак да батрачка только его и видели, а дома он все книги читал, и самые божественные. Наконец мы с ним познакомились,

именно из-за книг, и я начал к нему ходить, а он меня принимал с охотою. Пришли мы друг другу по сердцу.

Родители мои попервоначально не очень меня к нему пускали. Он им мудрен казался. Говорили: «Неизвестно, какой он такой и зачем ото всех прячется. Как бы чему худому не научил». Но я, быв родительской воле покорен, правду им говорил, отцу и матери, что ничего худого от Тимофея не слышу, а занимаемся тем, что вместе книжки читаем и о вере говорим. Как по святой воле Божией жить надо, чтобы образ Создателя в себе не уронить и не обесславить. Меня стали пускать к Тимофею сидеть сколько угодно, и отец мой сам к нему сходил, а потом и Тимофей Осипов к нам пришел. Увидали мои старики, что он человек хороший, и полюбили его, и очень стали жалеть, что он часто сумрачный. Вспомнит свою обиду, или особенно если ему хоть одно слово про дядю его сказать, – весь побледнеет и после ходит смутный и руки опустит. Тогда и читать не хочет, да и в глазах вместо всегдашней ласки – гнев горит. Честности он был примерной и умница, но к делам за тоскою своею не брался. Но скуке его Господь скоро помог: пришла ему по сердцу моя сестра, он на ней женился и перестал скучать, а начал жить да поживать и добра наживать, и в десять лет стал у всех в виду как самый капитальный человек. Дом вывел, как хоромы хорошие; всем полно, всего вдоволь и от всех в уважении, и жена добрая, а дети здоровые. Чего еще надо? Кажется, все прошлое горе позабыть можно, но он, однако, все-таки помнил



свою обиду, и один раз, когда мы с ним вдвоем в тележке ехали и говорили во всяком благодушии, – я его спросил:

– Как, брат Тимоша, всем ли ты теперь доволен?

– В каком, – спрашивает, – это смысле?

– Имеешь ли все то, чего в своем месте лишился?

А он сейчас весь побледнел и ни слова не ответил, только молча лошадью правил.

Тогда я извинился.

– Ты, – говорю, – брат, меня прости, что я так спросил...

Я думал, что лихое давно... минуло и позабылось.

– Нужды нет, – отвечает, – что оно давно... минуло, – все помнится...

Мне его жаль стало, только не с той стороны, что он когда-нибудь больше имел, а что он в таком омрачении: Святое Писание знает и хорошо говорить умеет, а к обиде такую память хранит. Значит, его святое слово не пользует.

Я и задумался, так как во всем его умнее себя почитал и от него думал добрым рассуждением пользоваться, а он зло помнит... Он это заметил и говорит:

– Что думаешь?

– А так, – говорю, – думаю что попало.

– Нет: ты это обо мне.

– И о тебе думаю.

– Что же ты обо мне думаешь?

– Ты, мол, не сердись, я вот что про тебя подумал. Писание ты знаешь, а сердце твоё гневно и Богу не покоряется. Есть

ли тебе через это какая польза в Писании?

Тимофей не осерчал, но только грустно омрачился в лице и отвечает:

– Ты святое слово приводить не сведущ. Не сведущ, – говорит, – ты и в том, какие на свете обиды есть, коих стерпеть нельзя, – и рассказал мне, что он не за деньги на дядю своего столь гневен, а за другое, чего забыть нельзя.

– Век про это молчать хотел, но тебе, – говорит, – как другу моему откроюсь.

И открыл мне, что дядя смертно огорчил его отца, свел горем в могилу его мать, оклеветал его самого и при старости своих лет улестил и угрозами понудил людей выдать за него, за старика, молодую девушку, которую Тимоша с детства любил и всегда себе в жену взять располагал.

– Разве, – говорит, – все это можно простить. Я его в жизнь не прощу.

– Ну да, – отвечаю, – обида твоя велика – это правда, а что Святое Писание тебя не пользует, и то не ложь.

А он мне опять напоминает, что я слабже его в Писании, и начинает доводить, как в Ветхом Завете святые мужи сами беззаконников не щадили и даже своими руками заклали. Хотел он, бедняк, этим совесть свою передо мною оправдать.

А я ответил:

– Тимоша! Ты умник, ты начитан и все знаешь, и я против тебя по Писанию отвечать не могу. Я что и читал, откроюсь тебе, не все разумею, поелику я человек грешный и ум имею

тесный. Однако скажу тебе: в Ветхом Завете все ветхое, а в Новом – яснее стоит: «возлюби да прости», и это мне нравится, как злат ключ, что всякий замок открывает. А в чем же прощать, неужели не в самой большой вине?

Он молчит.

Тогда я положил в уме:

Господи! Не угодно ли воле Твоей через меня сказать слово душе брата моего? И говорю, как Христа били, обижали, заплевали и так учредили, что одному Ему нигде места не было, а Он всех простил.

– Последуй, – говорю, – лучше сему, а то я опасаюсь, что «многие книги безумным тя творят».

– Ты, – говорю, – ополчись на себя. Пока ты зло помнишь – зло живо, – а пусть оно умрет, тогда и душа твоя в покое жить станет.

Тимофей выслушал меня и сильно сжал мне руку, но обширно говорить не стал, а сказал кратко:

– Не могу, оставь, мне тяжело.

Я оставил. Знал, что у него болит, и молчал, а шло время, и убыло еще шесть лет, и во все это время я за ним наблюдал и видел, что все он страдает, что если пустить его на всю свободу, да если он достигнет где-нибудь своего дядю, – забудет он все Писание и поработает сатане мстительному. Но в сердце своем я был покоен, потому что виделся мне тут перст Божий. Стал уже он помалу показываться, ну так верно и всю руку увидим. Спасет Господь моего друга от греха

гнева. Но только шло это – удивительно.

\* \* \*

Теперь Тимофей был у нас в ссылке шестнадцатый год, и прошло пятнадцать лет, как он женат. Было ему, стало быть, лет тридцать семь или восемь, и имел он трех детей и жил прекрасно. Любил он особенно цветы розы и имел их у себя много и на окнах, и в палисаднике. Все место перед домом было розанами покрыто, и через их запах был весь дом в благовонии.

И была у Тимофея такая привычка, что как близится солнце к закату, он непременно выходил в свой садик и сам охорашивал свои розы и читал на скамеечке книгу. Больше, сколь мне известно, и то было, что он тут иногда молился.

Таким точно порядком пришел он раз сюда и взял с собой Евангелие. Поглядел розы, а потом присел, раскрыл книгу и стал читать. Читает, как Христос пришел в гости к фарисею и Ему не подали даже воды, чтобы омыть ноги. И стало Тимофею нестерпимо обидно за Господа и жаль Его, так жаль, что он заплакал. Вот тут в эту самую минуту и случилось чуду начало, о котором Тимоша мне так говорил.

– Гляжу, – говорит, – вокруг себя и думаю: какое у меня всего изобилие и довольство, а Господь мой ходил в такой бедности...

И наполнились все глаза мои слезами, и никак их сморг-

нужь не могу; и все вокруг меня стало розовое, даже самые мои слезы. Так вроде забытья или обморока, и воскликнул я: «Господи! Если бы Ты ко мне пришел – я бы Тебе и себя самого отдал».

А ему вдруг в ответ откуда-то в ветерке розовом дохнуло:  
– Приду!

\* \* \*

Тимофей с трепетом прибежал ко мне и спрашивает: как ты об этом понимаешь: неужели Господь ко мне может в гости прийти?

Я отвечаю:

– Это, брат, сверх моего понимания. Как об этом в Писании?

А Тимофей говорит:

– В Писании есть: «Все Тот же Христос ныне и во веки», – я не смею не верить.

– Что же, – говорю, – и верь.

– Я велю что день на столе Ему прибор ставить.

Я плечами пожал и отвечаю:

– Ты меня не спрашивай, смотри сам лучшее, что к Его воле, а в приборе Ему обиды не считаю, но только не гордо ли это?

– Сказано, – говорит. – «Сей грешники приемлет и с мытарями ест».

– А и то, – отвечаю, – сказано: «Господи! Я не достоин, чтобы Ты вошел в дом мой». Мне и это нравится.

Тимофей говорит: – Ты не знаешь.

– Хорошо, будь по-твоему.

Тимофей велел жене с другого же дня ставить за столом лишнее место. Как садятся они за стол пять человек, – он, да жена, да трое ребяточек, – всегда у них шестое место в конце стола почетное, и перед ним большое кресло.

Жена любопытствовала: что это, к чему и для кого? Но Тимофей ей не все открывал. Жене и другим он говорил только, что так надо по его душевному обещанию «для первого гостя», а настоящего, кроме его да меня, никто не знал.

Ждал Тимофей Спасителя на другой день после слова в розовом садике, ждал в третий день, потом в первое воскресенье, но ожидания эти были без исполнения. Долгодневны и еще были его ожидания: на всякий праздник Тимофей все ждал Христа в гости и истомился тревогою, но не ослабевал в уповании, что Господь Свое обещание сдержит – придет. Открывал мне Тимофей так, что «всякий день, – говорит, – я молю: «ей, гряди, Господи!» – и ожидаю, но не слышу желанного ответа: «ей, гряду скоро!»

Разум мой недоумевал, что отвечать Тимофею, и часто я думал, что друг мой загордел и теперь за то путается в напрасном обольщении. Однако Божие смотрение о том было иначе.

Наступило Христово Рождество. Стояла лютая зима. Тимофей приходит ко мне на сочельник и говорит:

– Брат любезный, завтра я дождусь Господа.

Я к этим речам давно был безответен и тут только спросил:

– Какое же ты имеешь в этом уверение?

– Ныне, отвечает, только что я помолил: «Ей, гряди, Господи!» – как вся моя душа во мне всколыхнулась и в ней словно трубой вострубило: «Ей, гряди скоро!» Завтра Его святое Рождество – и не в сей ли день Он пожелует. Приди ко мне со всеми родными, а то душа моя страхом трепещет.

Я говорю:

– Тимоша! Знаешь ты, что я ни о чем этом судить не умею и Господа видеть не ожидаю, потому что я муж грешник, но ты нам свой человек – мы к тебе придем. А ты если уповательно ждешь столь великого гостя, зови не своих друзей, а сделай Ему угодное товарищество.

– Понимаю, – отвечает, – сейчас пошлю служающих у меня и сына моего обойти села и звать всех ссыльных – кто в нужде и бедствии. Явит Господь дивную милость – пожелует, так встретит все по заповеди.

Мне и это слово его тоже не нравилось.

– Тимофей, – говорю, – кто может учредить все по запо-

веди? Одно не разумеешь, другое забудешь, а третье исполнить не можешь.

Однако, если все это столь сильно «трубит» в душе твоей, то да будет так, как тебе открывается. Если Господь придет, Он все, чего не достанет, пополнит, и если ты кого Ему надо забудешь, Он сам приведет.

Пришли мы в Рождество к Тимофею всей семьей, попозже, как ходят на званный стол. Так он звал, чтобы всех дожждаться. Застали большие хоромы его полны людей, всякого нашенского, сибирского, засыльного роду. Мужчины и женщины и детское поколение, всякого звания и из разных мест, – и российские, и поляки, и чухонской веры. Тимофей собрал всех бедных поселенцев, которые еще с прибытия не оправились на своем хозяйстве. Столы большие, крыты скатертями и всем чем надобно. Батрачки бегают, квасы и чаши с пирогами расставляют. А на дворе уже смеркалося, да и ждать больше было некого: все послы домой возвратились, и гостям неоткуда больше быть, потому что на дворе поднялась метель и выюга, как светопреставление.

Одного только гостя нет и нет, – который всех дороже.

Надо было уже и огни зажигать да и за стол садиться, потому что совсем темно понадвинуло и все мы ждем в сумраке при одном малом свете от лампад перед иконами.

Тимофей ходил и сидел и был, видно, в тяжелой тревоге. Все упование его поколебалось, – теперь уже видное дело, что не бывать «великому гостю».



Прошла еще минута, и Тимофей вздохнул, взглянул на меня с унылостью и говорит: – Ну, брат милый, – вижу я, что либо угодно Господу оставить меня в посмеянии, либо прав ты: не умел я собрать всех кого надо, чтоб Его встретить. Будь о всем воля Божия: помолимся и сядем за стол.

Я отвечаю: – Читай молитву.

Он стал перед иконою и вслух зачитал: «Отче наш, иже еси на небеси», а потом «Христос рождается, славите, Христос с небес, срящите, Христос на земли...»

И только это слово вымолвил, как что-то так страшно ударило со двора в стену, что даже все зашаталось, а потом сразу же прошел шум по широким сеням, и вдруг двери в горницу сами вскрылись настежь.



Все люди, сколько тут было, в неопisanном страхе шарахнулись в один угол, а многие пали, и только кои всех смелее на двери смотрели. А в двери на пороге стоял старый-престарый старик, весь в худом рубище, дрожит и, чтобы не упасть, обеими руками за притолки держится; а из-за него из сеней, где темно было, – неописанный розовый свет светит, и через плечо старика вперед в хоромину выходит белая как из снега рука, и в ней длинная глиняная плошка с огнем, такая, как на беседе Никодима пишется... Ветер с выюгой с надворья рвет, а огня не колышет... И светит этот огонь старику в ли-

цо и на руку, а на руке в глаза бросается заросший старый шрам, весь побелел от стужи.

Тимофей как увидал это – вскричал: – Господи! Вижу и приму его во имя Твое, а Ты Сам не входи ко мне: я человек злой и грешный, – да с этим и поклонился лицом до земли. А с ним и я упал на землю от радости, что его настоящей покорностью тронуло, и воскликнул всем вслух: – Молитесь: Христос среди нас! – А все отвечали: – Аминь, – то есть «истинно».

Тут внесли огонь, – я и Тимофей восклонились от полу, а белой руки уже не видать, – только один старик остался.

Тимофей встал, взял его за обе руки и посадил на первое место. А кто он был, этот старик – может быть, вы и сами догадаетесь, – это был враг Тимофея, дядя, который всего его разорил. В кратких словах он сказал, что все у него пошло прахом, и семьи, и богатства он лишился, и ходил давно, чтобы отыскать племянника и просить у него прощения. И жаждал он этого, и боялся Тимофеева гнева, а в эту метель сбился с пути и, замерзая, чаял смерти единой.

– Но вдруг, – говорит, – кто-то неведомый осиял меня и сказал: «Иди, согрейся на Моем месте и поешь из Моей чаши», – взял меня за обе руки, и я стал здесь, сам не знаю отколе.

А Тимофей при всех отвечал: – Я, дядя, твоего Провожатого ведаю: это Господь, который сказал: «Аще алчет враг твой – ухлеби его, аще жаждет – напой его». Сядь у меня на

первом месте – ешь и пей во славу Его и будь в доме моем во всей воле до конца жизни.

С той поры старик так и остался у Тимофея и, умирая, благословил его, а Тимофей стал навсегда мирен в сердце своем. Так научен был мужик устроить в сердце своем ясли для рожденного на земле Христа. И всякое сердце тоже может быть такими яслями, если оно исполнит заповедь: «Любите врагов ваших, благотворите обиравшим вас», – и Христос придет в сердце его, как в убранную горницу, и сотворит себе там обитель.

# Н. С. Лесков

## Жемчужное ожерелье

### Глава первая



В одном образованном семействе сидели за чаем друзья и говорили о литературе – о вымысле, о фабуле. Сожалели,

отчего все это у нас беднеет и бледнеет. Я припомнил и рассказал одно характерное замечание покойного Писемского, который говорил, будто усматриваемое литературное оскудение прежде всего связано с размножением железных дорог, которые очень полезны торговле, но для художественной литературы вредны.

«Теперь человек проезжает много, но скоро и безобидно, – говорил Писемский, – и оттого у него никаких сильных впечатлений не набирается, и наблюдать ему нечего и некогда, – все скользит. Оттого и бедно. А бывало, как едешь из Москвы в Кострому „на долгих“, в общем тарантасе или „на сдаточных“, – да и ямщик-то тебе попадет подлец, да и соседи нахалы, да и постоялый дворник шельма, а „куфарка“ у него неопрятище, – так ведь сколько разнообразия согласишься. А еще как сердце не вытерпит, – изловишь какую-нибудь гадость во щах да эту „куфарку“ обругаешь, а она тебя на ответ – вдесятеро иссрамит, так от впечатлений-то просто и не отделаешься. И стоят они в тебе густо, точно суточная каша преет, – ну, разумеется, густо и в сочинении выходило; а нынче все это по железнодорожному – бери тарелку, не спрашивай; ешь – пожевать некогда; день-день и готово: опять едешь, и только всех у тебя впечатлений, что лакей сдачей тебя обсчитал, а обругаться с ним в свое удовольствие уже и некогда».

Один гость на это заметил, что Писемский оригинален, но неправ, и привел в пример Диккенса, который писал в стра-

не, где очень быстро ездят, однако же видел и наблюдал много, и фабулы его рассказов не страдают скудостью содержания.

– Исключение составляют разве только одни его святочные рассказы. И они, конечно, прекрасны, но в них есть однообразие; однако в этом винить автора нельзя, потому что это такой род литературы, в котором писатель чувствует себя невольником слишком тесной и правильно ограниченной формы. От святочного рассказа непременно требуется, чтобы он был приурочен к событиям святочного вечера – от Рождества до Крещенья, чтобы он был сколько-нибудь фантастичен, имел какую-нибудь мораль, хоть вроде опровержения вредного предрассудка, и наконец – чтобы он оканчивался непременно весело. В жизни таких событий бывает немного, и потому автор неволит себя выдумывать и сочинять фабулу, подходящую к программе. А через это в святочных рассказах и замечается большая деланность и однообразие.

– Ну, я не совсем с вами согласен, – отвечал третий гость, почтенный человек, который часто умел сказать слово к стати. Потому нам всем и захотелось его слушать.

– Я думаю, – продолжал он, – что и святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видоизменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое время и нравы.

– Но чем же вы можете доказать ваше мнение? Чтобы оно

было убедительно, надо, чтобы вы нам показали такое событие из современной жизни русского общества, где отразился бы и век и современный человек, и между тем все бы это отвечало форме и программе святочного рассказа, то есть было бы и слегка фантастично, и искореняло бы какой-нибудь предрассудок, и имело бы не грустное, а веселое окончание.

— А что же? — я могу вам представить такой рассказ, если хотите.

— Сделайте одолжение! Но только помните, что он должен быть истинное происшествие!

— О, будьте уверены, — я расскажу вам происшествие самое истиннейшее, и притом о лицах мне очень дорогих и близких. Дело касается моего родного брата, который, как вам, вероятно, известно, хорошо служит и пользуется вполне им заслуженною доброю репутациею.

Все подтвердили, что это правда, и многие добавили, что брат рассказчика действительно достойный и прекрасный человек.

— Да, — отвечал тот, — вот я и поведу речь об этом, как вы говорите, прекрасном человеке.

## **Глава вторая**

Назад тому три года брат приехал ко мне на святки из провинции, где он тогда служил, и точно его какая муха укусила — приступил ко мне и к моей жене с неотступною просьбою:

«Жените меня».

Мы сначала думали, что он шутит, но он серьезно и не с коротким пристаёт: «Жените, сделайте милость! Спасите меня от невыносимой скуки одиночества! Опостылела холостая жизнь, надоели сплетни и вздоры провинции, – хочу иметь свой очаг, хочу сидеть вечером с дорогою женою у своей лампы. Жените!»

– Ну да постой же, – говорим, – все это прекрасно и пусть будет по-твоему, – Господь тебя благослови, – женись, но ведь надобно же время, надо иметь в виду хорошую девушку, которая бы пришлась тебе по сердцу и чтобы ты тоже нашёл у нее к себе расположение. На все это надо время.

А он отвечает:

– Что же – времени довольно: две недели святок венчаться нельзя, – вы меня в это время сосватайте, а на Крещение вечером мы обвенчаемся и уедем.

– Э, – говорю, – да ты, любезный мой, должно быть немножко с ума сошел от скуки. (Слова «психопат» тогда еще не было у нас в употреблении.) Мне, – говорю, – с тобой дурачиться некогда, я сейчас в суд на службу иду, а ты вот тут оставайся с моей женою и фантазируй.

Думал, что все это, разумеется, пустяки или, по крайней мере, что это затея очень далекая от исполнения, а между тем возвращаясь к обеду домой и вижу, что у них уже дело созрело.

Жена говорит мне:



– У нас была Машенька Васильева, просила меня съездить с нею выбрать ей платье, и пока я одевалась, они (то есть брат мой и эта девица) посидели за чаем, и брат говорит: «Вот прекрасная девушка! Что там еще много выбирать – жените меня на ней!»

Я отвечаю жене:

– Теперь я вижу, что брат в самом деле одурел.

– Нет, позволь, – отвечает жена, – отчего же это непременно «одурел»? Зачем же отрицать то, что ты сам всегда уважал?

– Что это такое я уважал?

– Безотчетные симпатии, влечения сердца.

– Ну, – говорю, – матушка, меня на это не подденешь. Все это хорошо вовремя и кстати, хорошо, когда эти влечения вытекают из чего-нибудь ясно сознанного, из признания видимых превосходств души и сердца, а это – что такое... в одну минуту увидел и готов обрешетиться на всю жизнь.

– Да, а ты что же имеешь против Машеньки? – она именно такая и есть, как ты говоришь, – девушка ясного ума, благородного характера и прекрасного и верного сердца. Притом и он ей очень понравился.

– Как! – воскликнул я, – так это ты уж и с ее стороны успела заручиться признанием?

– Признание, – отвечает, – не признание, а разве это не видно? Любовь ведь – это по нашему женскому ведомству, – мы ее замечаем и видим в самом зародыше.

– Вы, – говорю, – все очень противные свахи: вам бы только кого-нибудь женить, а там что из этого выйдет – это до вас не касается. Побойся последствий твоего легкомыслия.

– А я ничего, – говорит, – не боюсь, потому что я их обоих знаю, и знаю, что брат твой – прекрасный человек и Маша – премилая девушка, и они как дали слово заботиться о счастье друга, так это и исполняют.

– Как! – закричал я, себя не помня, – они уже и слово друг другу дали?

– Да, – отвечает жена, – это было пока иносказательно, но понятно. Их вкусы и стремления сходятся, и я вечером поеду с твоим братом к ним, – он, наверно, понравится старикам, и потом...

– Что же, что потом?

– Потом – пускай как знают; ты только не мешайся.

– Хорошо, – говорю, – хорошо, – очень рад в подобную глупость не мешаться.

– Глупости никакой не будет.

– Прекрасно.

– А будет все очень хорошо: они будут счастливы!

– Очень рад! Только не мешает, – говорю, – моему братцу и тебе знать и помнить, что отец Машеньки всем известный богатый сквалыжник.

– Что же из этого? Я этого, к сожалению, и не могу оспаривать, но это нимало не мешает Машеньке быть прекрасною девушкой, из которой выйдет прекрасная жена. Ты, вер-

но, забыл то, над чем мы с тобою не раз останавливались: вспомни, что у Тургенева – все его лучшие женщины, как на подбор, имели очень непочтенных родителей.

– Я совсем не о том говорю. Машенька действительно превосходная девушка, а отец ее, выдавая замуж двух старших ее сестер, обоих зятьев обманул и ничего не дал, – и Маше ничего не даст.

– Почему это знать? Он ее больше всех любит.

– Ну, матушка, держи карман шире: знаем мы, что такое их «особенная» любовь к девушке, которая на выходе. Всех обманет! Да ему и не обмануть нельзя – он на том стоит, и состоянию-то своему, говорят, тем начало положил, что деньги в большой рост под залоги давал. У такого-то человека вы захотели любви и великодушия доискаться. А я вам то скажу, что первые его два зятя оба сами пройды, и если он их надул и они теперь все во вражде с ним, то уж моего братца, который с детства страдал самою утрированной деликатностью, он и подавно оставит на бобах.

– То есть как это, – говорит, – на бобах?

– Ну, матушка, это ты дурачишься.

– Нет, не дурачусь.

– Да разве ты не знаешь, что такое значит «оставить на бобах»? Ничего не даст Машеньке, – вот и вся недолга.

– Ах, вот это-то!

– Ну, конечно.

– Конечно, конечно! Это быть может, но только я, – гово-

рит, – никогда не думала, что по-твоему – получить путную жену, хотя бы и без приданого, – это называется «остаться на бобах».

Знаете милую женскую привычку и логику: сейчас – в чужой огород, а вам по соседству шпильку в бок...

– Я говорю вовсе не о себе...

– Нет, отчего же?..

– Ну, это странно, *ma chère*<sup>3</sup>!

– Да отчего же странно?

– Оттого странно, что я этого на свой счет не говорил.

– Ну, думал.

– Нет – совсем и не думал.

– Ну, воображал.

– Да нет же, черт возьми, ничего я не воображал!

– Да чего же ты кричишь?!

– Я не кричу.

– И «черти»... «черт»... Что это такое?

– Да потому, что ты меня из терпения выводешь.

– Ну вот то-то и есть! А если бы я была богата и принесла с собою тебе приданое...

– Э-ге-ге!..

Этого уже я не выдержал и, по выражению покойного поэта Толстого, «начав – как бог, окончил – как свинья». Я принял обиженный вид, – потому, что и в самом деле чувствовал себя несправедливо обиженным, – и, покачивая головою,

---

<sup>3</sup> Моя дорогая (*франц.*).

повернулся и пошел к себе в кабинет. Но, затворяя за собою дверь, почувствовал неодолимую жажду отмщения – снова отворил дверь и сказал:

– Это свинство!

А она отвечает:

– Мерсі, мой милый муж.

## Глава третья

Черт знает, что за сцена! И не забудьте – это после четырех лет самой счастливой и ничем ни на минуту не возмущенной супружеской жизни!.. Досадно, обидно – и непереносно! Что за вздор такой! И из-за чего!.. Все это набаламутил брат. И что мне такое, что я так кипячусь и волнуюсь! Ведь он в самом деле взрослый, и не вправе ли он сам обсудить, какая особа ему нравится и на ком ему жениться?.. Господи – в этом сыну родному нынче не укажешь, а то, чтобы еще брат брата должен был слушаться... Да и по какому, наконец, праву?.. И могу ли я, в самом деле, быть таким провидцем, чтобы утвердительно предсказывать, какое сватовство чем кончится?.. Машенька действительно превосходная девушка, а моя жена разве не прелестная женщина?.. Да и меня, слава богу, никто негодяем не называл, а между тем вот мы с нею, после четырех лет счастливой, ни на минуту ничем не смущенной жизни, теперь разобрались, как портной с портнихой... И все из-за пустяков, из-за чужой шутовской

прихоти...

Мне стало ужасно совестно перед собою и ужасно ее жалко, потому что я ее слова уже считал ни во что, а за все винил себя, и в таком грустном и недовольном настроении уснул у себя в кабинете на диване, закутавшись в мягкий ватный халат, выстеганный мне собственными руками моей милой жены...

Подкупающая это вещь – носильное удобное платье, сработанное мужу жениными руками! Так оно хорошо, так мило и так вовремя и не вовремя напоминает и наши вины и те драгоценные ручки, которые вдруг захочется расцеловать и просить в чем-то прощения.

– Прости меня, мой ангел, что ты меня, наконец, вывела из терпения. Я вперед не буду.

И мне, признаться, до того захотелось поскорее идти с этой просьбой, что я проснулся, встал и вышел из кабинета.

Смотрю – в доме везде темно и тихо.

Спрашиваю горничную:

– Где же барыня?

– А они, – отвечает, – уехали с вашим братцем к Марьи Николаевны отцу. Я вам сейчас чай приготовлю.

«Какова! – думаю, – значит, она своего упорства не оставляет, – она таки хочет женить брата на Машеньке... Ну пусть их делают, как знают, и пусть их Машенькин отец надует, как он надул своих старших зятьев. Да даже еще и более, потому что те сами жохи, а мой брат – воплощенная честность и

деликатность. Тем лучше, – пусть он их надует – и брата и мою жену. Пусть она обожжется на первом уроке, как людей сватать!»

Я получил из рук горничной стакан чаю и уселся читать дело, которое завтра начиналось у нас в суде и представляло для меня немало трудностей.

Занятие это увлекло меня далеко за полночь, а жена моя с братом возвратились в два часа и оба превеселые.

Жена говорит мне:

– Не хочешь ли холодного ростбифа и стакан воды с вином? а мы у Васильевых ужинали.

– Нет, – говорю, – покорно благодарю.

– Николай Иванович расщедрился и отлично нас покормил.

– Вот как!

– Да – мы превесело провели время и шампанское пили.

– Счастливицы! – говорю, а сам думаю: «Значит, эта бестия, Николай Иванович, сразу раскусил, что за теленок мой брат, и дал ему пошла не даром. Теперь он его будет ласкать, пока там жениховский рученец кончится, а потом – быть бычку на обрывочку».

А чувства мои против жены снова озлобились, и я не стал просить у нее прощенья в своей невинности. И даже если бы я был свободен и имел досуг вникать во все перипетии затеянной ими любовной игры, то не удивительно было б, что я снова не вытерпел бы – во что-нибудь вмешался, и мы до-

шли бы до какой-нибудь психозы; но, по счастью, мне было некогда. Дело, о котором я вам говорил, заняло нас на суде так, что мы с ним не чаяли освободиться и к празднику, а потому я домой являлся только поесть да выспаться, а все дни и часть ночей проводил пред алтарем Фемиды.

А дома у меня дела не ждали, и когда я под самый сочельник явился под свой кров, довольный тем, что освободился от судебных занятий, меня встретили тем, что пригласили осмотреть роскошную корзину с дорогими подарками, подносимыми Машеньке моим братом.

– Это что же такое?

– А это дары жениха невесте, – объяснила мне моя жена.

– Ага! так вот уже как! Поздравляю.

– Как же! Твой брат не хотел делать формального предложения, не переговорив еще раз с тобою, но он спешит своей свадьбой, а ты, как назло, сидел все в своем противном суде. Ждать было невозможно, и они помолвлены.

– Да и прекрасно, – говорю, – незачем было меня и ждать.

– Ты, кажется, остришь?

– Нисколько я не острю.

– Или иронизируешь?

– И не иронизирую.

– Да это было бы и напрасно, потому что, несмотря на все твое карканье, они будут пресчастливы.

– Конечно, – говорю, – уж если ты ручаешься, то будут... Есть такая пословица: «Кто думает три дни, тот выберет



злыдни». Не выбирать – вернее.

– А что же, – отвечает моя жена, закрывая корзинку с дарами, – ведь это вы думаете, будто вы нас выбираете, а в существе ведь все это вздор.

– Почему же это вздор? Надеюсь, не девушки выбирают женихов, а женихи к девушкам сватаются.

– Да, сватаются – это правда, но выбора, как осмотрительного или рассудительного дела, никогда не бывает.

Я покачал головою и говорю:

– Ты бы подумала о том, что ты такое говоришь. Я вот тебя, например, выбрал – именно из уважения к тебе и сознавая твои достоинства.

– И врешь.

– Как вру?!

– Врешь – потому что ты выбрал меня совсем не за достоинства.

– А за что же?

– За то, что я тебе понравилась.

– Как, ты даже отрицаешь в себе достоинства?

– Нимало – достоинства во мне есть, а ты все-таки на мне не женился бы, если бы я тебе не понравилась.

Я чувствовал, что она говорит правду.

– Однако же, – говорю, – я целый год ждал и ходил к вам в дом. Для чего же я это делал?

– Чтобы смотреть на меня.

– Неправда – я изучал твой характер.

Жена расхохоталась.

– Что за пустой смех!

– Нисколько не пустой. Ты ничего, мой друг, во мне не изучал, и изучать не мог.

– Это почему?

– Сказать?

– Сделай милость, скажи!

– Потому, что ты был в меня влюблен.

– Пусть так, но это мне не мешало видеть твои душевные свойства.

– Мешало.

– Нет, не мешало.

– Мешало, и всегда всякому будет мешать, а потому это долгое изучение и бесполезно. Вы думаете, что, влюбившись в женщину, вы на нее смотрите с рассуждением, а на самом деле вы только глазеете с воображением.

– Ну... однако, – говорю, – ты уж это как-то... очень реально.

А сам думаю: «Ведь это правда!»

А жена говорит:

– Полно думать, – худа не вышло, а теперь переодевайся скорее и поедem к Машеньке: мы сегодня у них встречаем Рождество, и ты должен принести ей и брату свое поздравление.

– Очень рад, – говорю. И поехали.

## Глава четвертая

Там было подношение даров и принесение поздравлений, и все мы порядочно упились веселым нектаром Шампани.

Думать и разговаривать или отговаривать было уже некогда. Оставалось только поддерживать во всех веру в счастье, ожидающее обрученных, и пить шампанское. В этом и проходили дни и ночи то у нас, то у родителей невесты.

В этакое настроении долго ли время тянется?

Не успели мы оглянуться, как уже налетел и канун Нового года. Ожидания радостей усиливаются. Свет целый жемлет радостей, – и мы от людей не отстали. Встретили мы Новый год опять у Машенькиных родных с таким, как деды наши говорили, «мочимордием», что оправдали дедовское речение: «Руси есть веселие пити». Одно было не в порядке. Машенькин отец о приданом молчал, но зато сделал дочери престранный и, как потом я понял, совершенно непозволительный и зловещий подарок. Он сам надел на нее при всех за ужином богатое жемчужное ожерелье... Мы, мужчины, взглянув на эту вещь, даже подумали очень хорошо.

«Ого-го, мол, сколько это должно стоить? Вероятно, такая штучка припасена с оных давних, благих дней, когда богатые люди из знати еще в ломбарды вещей не посылали, а при большой нужде в деньгах охотнее вверяли свои ценности тайным ростовщикам вроде Машенькиного отца».

Жемчуг крупный, окатистый и чрезвычайно живой. При этом ожерелье сделано в старом вкусе, что называлось рефидью, ряснами, – назади начато небольшим, но самым скатным кафимским зерном, а потом все крупней и крупнее бурмицкое, и, наконец, что далее книзу, то пошли как бобы, и в самой середине три черные перла поражающей величины и самого лучшего блеска. Прекрасный, ценный дар совсем затмевал сконфуженные перед ним дары моего брата. Словом сказать – мы, грубые мужчины, все находили отцовский подарок Машеньке прекрасным, и нам понравилось также и слово, произнесенное стариком при подаче ожерелья. Отец Машеньки, подав ей эту драгоценность, сказал: «Вот тебе, доченька, штучка с наговором: ее никогда ни тля не истлит, ни вор не украдет, а если и украдет, то не обрадуется. Это – вечное».

Но у женщин ведь на все свои точки зрения, и Машенька, получив ожерелье, заплакала, а жена моя не выдержала и, улучив удобную минуту, даже сделала Николаю Ивановичу у окна выговор, который он по праву родства выслушал. Выговор ему за подарок жемчуга следовал потому, что жемчуг знаменует и предвещает слезы. А потому жемчуг никогда для новогодних подарков не употребляется.

Николай Иванович, впрочем, ловко отшутился.

– Это, – говорит, – во-первых, пустые предрассудки, и если кто-нибудь может подарить мне жемчужину, которую княгиня Юсупова купила у Горгубуса, то я ее сейчас возь-

му. Я, сударыня, тоже в свое время эти тонкости проходил, и знаю, чего нельзя дарить. Девушке нельзя дарить бирюзы, потому что бирюза, по понятиям персов, есть кости людей, умерших от любви, а замужним дамам нельзя дарить аметиста *avec fleches d'Amour*<sup>4</sup>, но тем не менее я пробовал дарить такие аметисты, и дамы брали...

Моя жена улыбнулась. А он говорит:

– Я и вам попробую подарить. А что касается жемчуга, то надо знать, что жемчуг жемчугу рознь. Не всякий жемчуг добывается со слезами. Есть жемчуг персидский, есть из Красного моря, а есть перлы из тихих вод – *d'eau douce*, тот без слезы берут. Сентиментальная Мария Стюарт только такой и носила *perle d'eau douce*<sup>5</sup>, из шотландских рек, но он ей не принес счастья. Я знаю, что надо дарить, – то я и дарю моей дочери, а вы ее пугаете. За это я вам не подарю ничего *avec fleches d'Amour*, а подарю вам хладнокровный «лунный камень». Но ты, мое дитя, не плачь и выбрось из головы, что мой жемчуг приносит слезы. Это не такой. Я тебе на другой день твоей свадьбы открою тайну этого жемчуга, и ты увидишь, что тебе никаких предрассудков бояться нечего...

Так это и успокоилось, и брата с Машенькой после Крещенья перевенчали, а на следующий день мы с женою поехали навестить молодых.

---

<sup>4</sup> Со стрелами Амура (*франц.*).

<sup>5</sup> Из пресных вод (*франц.*).

## Глава пятая

Мы застали их вставшими и в необыкновенно веселом расположении духа. Брат сам открыл нам двери помещения, взятого им для себя, ко дню свадьбы, в гостинице, встретил нас весь сияя и покатываясь со смеху.

Мне это напомнило один старый роман, где новобрачный сошел с ума от счастья, и я это брату заметил, а он отвечает:

– А что ты думаешь, ведь со мною в самом деле произошел такой случай, что возможно своему уму не верить. Семейная жизнь моя, начавшаяся сегодняшним днем, принесла мне не только ожидаемые радости от моей милой жены, но также неожиданное благополучие от тестя.

– Что же такое еще с тобою случилось?

– А вот входите, я вам расскажу.

Жена мне шепчет:

– Верно, старый негодяй их надул.

Я отвечаю:

– Это не мое дело.

Входим, а брат подает нам открытое письмо, полученное на их имя рано по городской почте, и в письме читаем следующее:

«Предрассудок насчет жемчуга ничем вам угрожать не может: этот жемчуг фальшивый». Жена моя так и села.

– Вот, – говорит, – негодяй!

Но брат ей показал головою в ту сторону, где Машенька делала в спальне свой туалет, и говорит:

– Ты неправа: старик поступил очень честно. Я получил это письмо, прочел его и рассмеялся... Что же мне тут печального? я ведь приданого не искал и не просил, я искал одну жену, стало быть мне никакого огорчения в том нет, что жемчуг в ожерелье не настоящий, а фальшивый. Пусть это ожерелье стоит не тридцать тысяч, а просто триста рублей, – не все ли равно для меня, лишь бы жена моя была счастлива... Одно только меня озабочивало, как это сообщить Маше? Над этим я задумался и сел, оборотясь лицом к окну, а того не заметил, что дверь забыл запереть. Через несколько минут оборачиваюсь и вдруг вижу, что у меня за спиною стоит тесть и держит что-то в руке в платочке.

«Здравствуй, – говорит, – зятюшка!»

Я вскочил, обнял его и говорю:

«Вот это мило! мы должны были к вам через час ехать, а вы сами... Это против всех обычаев... мило и дорого».

«Ну что, – отвечает, – за счеты! Мы свои. Я был у обедни, – помолился за вас и вот просвиру вам привез».

Я его опять обнял и поцеловал.

«А ты письмо мое получил?» – спрашивает.

«Как же, – говорю, – получил».

И я сам рассмеялся.

Он смотрит.

«Чего же, – говорит, – ты смеешься?»

«А что же мне делать? Это очень забавно».

«Забавно?»

«Да как же».

«А ты подай-ка мне жемчуг».

Ожерелье лежало тут же на столе в футляре, – я его и подал.

«Есть у тебя увеличительное стекло?»

Я говорю: «Нет».

«Если так, то у меня есть. Я по старой привычке всегда его при себе имею. Изволь смотреть на замок под собачку».

«Для чего мне смотреть?»

«Нет, ты посмотри. Ты, может быть, думаешь, что я тебя обманул».

«Вовсе не думаю».

«Нет – смотри, смотри!»

Я взял стекло и вижу – на замке, на самом скрытном месте микроскопическая надпись французскими буквами: «Бургильон».

«Убедился, – говорит, – что это действительно жемчуг фальшивый?»

«Вижу».

«И что же ты мне теперь скажешь?»

«То же самое, что и прежде. То есть: это до меня не касается, и вас только буду об одном просить...»

«Проси, проси!»

«Позвольте не говорить об этом Маше».



«Это для чего?»

«Так...»

«Нет, в каких именно целях? Ты не хочешь ее огорчить?»

«Да – это между прочим».

«А еще что?»

«А еще то, что я не хочу, чтобы в ее сердце хоть что-нибудь шевельнулось против отца».

«Против отца?» «Да».

«Ну, для отца она теперь уже отрезанный ломоть, который к караваю не пристанет, а ей главное – муж...»

«Никогда, – говорю, – сердце не заезжий двор: в нем тесно не бывает. К отцу одна любовь, а к мужу – другая, и кроме того... муж, который желает быть счастливым, обязан заботиться, чтобы он мог уважать свою жену, а для этого он должен беречь ее любовь и почтение к родителям».

«Ага! Вот ты какой практик!»

И стал молча пальцами по табуретке барабанить, а потом встал и говорит:

«Я, любезный зять, наживал состояние своими трудами, но очень разными средствами. С высокой точки зрения они, может быть, не все очень похвальны, но такое мое время было, да я и не умел наживать иначе. В людей я не очень верю, и про любовь только в романах слыхал, как читают, а на деле я все видел, что все денег хотят. Двум зятьям я денег не дал, и вышло верно: они на меня злы и жен своих ко мне не пускают. Не знаю, кто из нас благороднее – они или я? Я денег

им не даю, а они живые сердца портят. А я им денег не дам, а вот тебе возьму да и дам! Да! И вот, даже сейчас дам!»

И вот извольте смотреть!

Брат показал нам три билета по пятидесяти тысяч рублей.

– Неужели, – говорю, – все это твоей жене?

– Нет, – отвечает, – он Маше дал пятьдесят тысяч, а я ему говорю:

«Знаете, Николай Иванович, – это будет щекотливо... Маше будет неловко, что она получит от вас приданое, а сестры ее – нет... Это непременно вызовет у сестер к ней зависть и неприязнь... Нет, бог с ними, – оставьте у себя эти деньги и... когда-нибудь, когда благоприятный случай примирит вас с другими дочерьми, тогда вы дадите всем поровну. И вот тогда это принесет всем нам радость... А одним нам... не надо!»

Он опять встал, опять прошелся по комнате и, остановясь против двери спальни, крикнул:

«Марья!»

Маша уже была в пеньюаре и вышла.

«Поздравляю, – говорит, – тебя».

Она поцеловала его руку.

«А счастлива быть хочешь?»

«Конечно, хочу, папа, и... надеюсь».

«Хорошо... Ты себе, брат, хорошего мужа выбрала!»

«Я, папа, не выбирала. Мне его Бог дал».

«Хорошо, хорошо. Бог дал, а я придам: я тебе хочу приба-

вить счастья. – Вот три билета, все равные. Один тебе, а два твоим сестрам. Раздай им сама – скажи, что ты даришь...»

«Папа!»

Маша бросилась ему сначала на шею, а потом вдруг опустилась на землю и обняла, радостно плача, его колена. Смотрю – и он заплакал.

«Встань, встань! – говорит. – Ты нынче, по народному слову, „княгиня“ – тебе неприлично в землю мне кланяться».

«Но я так счастлива... за сестер!...»

«То-то и есть... И я счастлив!.. Теперь можешь видеть, что нечего тебе было бояться жемчужного ожерелья. Я пришел тебе тайну открыть: подаренный мною тебе жемчуг – фальшивый, меня им давно сердечный приятель надул, да ведь какой, – не простой, а слитый из Рюриковичей и Гедиминовичей. А вот у тебя муж простой души, да истинной: такого надуть невозможно – душа не стерпит!»

– Вот вам весь мой рассказ, – заключил собеседник, – и я, право, думаю, что, несмотря на его современное происхождение и на его невымысленность, он отвечает и программе и форме традиционного святочного рассказа.

1885

# Н. С. Лесков

## Неразменный рубль



### Глава первая

Есть поверье, будто волшебными средствами можно получить неразменный рубль, то есть такой рубль, который, сколько раз его не выдавай, он все-таки опять является це-

лым в кармане. Но для того чтобы добыть такой рубль, нужно претерпеть большие страхи. Всех их я не помню, но знаю, что, между прочим, надо взять черную без одной отметины кошку и нести ее продавать рождественскою ночью на перекресток четырех дорог, из которых притом одна непременно должна вести к кладбищу.

Здесь надо стать, пожав кошку посильнее, так, чтобы она замяукала, и зажмурить глаза. Все это надо сделать за несколько минут перед полночью, а в самую полночь придет кто-то и станет торговать кошку. Покупщик будет давать за бедного зверька очень много денег, но продавец должен требовать непременно только рубль, – ни больше, ни меньше как один серебряный рубль. Покупщик будет навязывать более, но надо настойчиво требовать рубль, и когда, наконец, этот рубль будет дан, тогда его надо положить в карман и держать рукою, а самому уходить как можно скорее и не оглядываться. Этот рубль и есть неразменный или безрасходный, – то есть сколько ни отдавайте его в уплату за что-нибудь, – он все-таки опять является в кармане. Чтобы заплатить, например, сто рублей, надо только сто раз опустить руку в карман и оттуда всякий раз вынуть рубль.

Конечно, это поверье пустое и нестаточное; но есть простые люди, которые склонны верить, что неразменные рубли действительно можно добывать. Когда я был маленьким мальчиком, и я тоже этому верил.

## Глава вторая

Раз, во время моего детства, няня, укладывая меня спать в рождественскую ночь, сказала, что у нас теперь на деревне очень многие не спят, а гадают, рядятся, ворожат и, между прочим, добывают себе «неразменный рубль». Она распространилась на тот счет, что людям, которые пошли добывать неразменный рубль, теперь всех страшнее, потому что они должны лицом к лицу встретиться с дьяволом на далеком распутье и торговаться с ним за черную кошку; но зато их ждут и самые большие радости... Сколько можно накопить прекрасных вещей за беспереводный рубль! Что бы я надеялся, если бы мне попался такой рубль! Мне тогда было всего лет восемь, но я уже побывал в своей жизни в Орле и в Кромах и знал некоторые превосходные произведения русского искусства, привозимые купцами к нашей приходской церкви на рождественскую ярмарку.

Я знал, что на свете бывают пряники желтые, с патокою, и белые пряники – с мятой, бывают столбики и сосульки, бывает такое лакомство, которое называется «резь», или лапша, или еще проще «шмотья», бывают орехи простые и каленые; а для богатого кармана привозят и изюм, и финики. Кроме того, я видел картины с генералами и множество других вещей, которых я не мог всех перекупить, потому что мне давали на мои расходы простой серебряный рубль, а не беспере-

реводный. Но няня нагнулась надо мною и прошептала, что нынче это будет иначе, потому что беспереводный рубль есть у моей бабушки, и она решила подарить его мне, но только я должен быть очень осторожен, чтобы не лишиться этой чудесной монеты, потому что она имеет одно волшебное, очень капризное свойство.

– Какое? – спросил я.

– А это тебе скажет бабушка. Ты спи, а завтра, как проснешься, бабушка принесет тебе неразменный рубль и скажет, как надо с ним обращаться.

Оболенный этим обещанием, я постарался заснуть в ту же минуту, чтобы ожидание неразменного рубля не было томительно.

## Глава третья

Няня меня не обманула: ночь пролетела как краткое мгновение, которого я и не заметил, и бабушка уже стояла над моею кроваткою в своем большом чепце с рюшевыми мармотками и держала в своих белых руках новенькую, чистую серебряную монету, отбитую в самом полном и превосходном калибре.

– Ну, вот тебе беспереводный рубль, – сказала она. – Бери его и поезжай в церковь. После обедни мы, старики, зайдем к батюшке, отцу Василию, пить чай, а ты один, – совершенно один, – можешь идти на ярмарку и покупать все, что ты

сам захочешь. Ты сторгуешь вещь, опустишь руку в карман и выдашь свой рубль, а он опять очутится в твоём же кармане.

– Да, – говорю, – я уже все это знаю.

А сам зажал рубль в ладонь и держу его как можно крепче. А бабушка продолжает:

– Рубль возвращается, это правда. Это его хорошее свойство, – его также нельзя и потерять; но зато у него есть другое свойство, очень невыгодное: неразменный рубль не переведется в твоём кармане до тех пор, пока ты будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные или полезные, но раз что ты изведешь хоть один грош на полную бесполезность – твой рубль в то же мгновение исчезнет.

– О, – говорю, – бабушка, я вам очень благодарен, что вы мне это сказали; но поверьте, я уж не так мал, чтобы не понять, что на свете полезно и что бесполезно.

Бабушка покачала головою и, улыбаясь, сказала, что она сомневается; но я ее уверил, что знаю, как надо жить при богатом положении.

– Прекрасно, – сказала бабушка, – но, однако, ты все-таки хорошенько помни, что я тебе сказала.

– Будьте покойны. Вы увидите, что я приду к отцу Василию и принесу на загляденье прекрасные покупки, а рубль мой будет цел у меня в кармане.

– Очень рада, – посмотрим. Но ты все-таки не будь самонадеян; помни, что отличить нужное от пустого и излишнего вовсе не так легко, как ты думаешь.



– В таком случае не можете ли вы походить со мною по ярмарке?

Бабушка на это согласилась, но предупредила меня, что она не будет иметь возможности дать мне какой бы то ни было совет или остановить меня от увлечения и ошибки, потому что тот, кто владеет беспереводным рублем, не может ни от кого ожидать советов, а должен руководиться своим умом.

– О, моя милая бабушка, – отвечал я, – вам и не будет надобности давать мне советы, – я только взгляну на ваше лицо и прочитаю в ваших глазах все, что мне нужно.

– В таком разе идем. – И бабушка послала девушку сказать отцу Василию, что она придет к нему позже, а пока мы отправились с нею на ярмарку.

## Глава четвертая

Погода была хорошая, – умеренный морозец с маленькой влажностью; в воздухе пахло крестьянской белой онучею, лыком, пшеном и овчиной. Народу много, и все разодеты в том, что есть лучшего. Мальчишки из богатых семей все получили от отцов на свои карманные расходы по грошу и уже истратили эти капиталы на приобретение глиняных свистулек, на которых задавали самый бедовый концерт. Бедные ребятишки, которым грошей не давали, стояли под плетнем и только завистливо облизывались. Я видел, что им тоже хотелось бы овладеть подобными же музыкальными инстру-

ментами, чтобы слиться всей душою в общей гармонии, и... я посмотрел на бабушку...

Глиняные свистульки не составляли необходимости и даже не были полезны, но лицо моей бабушки не выражало ни малейшего порицания моему намерению купить всем бедным детям по свистульке. Напротив, доброе лицо старушки выражало даже удовольствие, которое я принял за одобрение: я сейчас же опустил мою руку в карман, достал оттуда мой неразменный рубль и купил целую коробку свистулек, да еще мне подали с него несколько сдачи. Опуская сдачу в карман, я ощупал рукою, что мой неразменный рубль целехонек и уже опять лежит там, как было до покупки. А между тем все ребятишки получили по свистульке, и самые бедные из них вдруг сделались так же счастливы, как и богатые, и засвистали во всю свою силу, а мы с бабушкой пошли дальше, и она мне сказала:

– Ты поступил хорошо, потому что бедным детям надо играть и резвиться, и кто может сделать им какую-нибудь радость, тот напрасно не спешит воспользоваться своею возможностью. И в доказательство, что я права, опусти еще раз свою руку в карман и попробуй, где твой неразменный рубль?

Я опустил руку и... мой неразменный рубль был в моем кармане.

– Ага, – подумал я, – теперь я уже понял, в чем дело, и могу действовать смелее.

## Глава пятая

Я подошел к лавочке, где были ситцы и платки, и накупил всем нашим девушкам по платью, кому розовое, кому голубое, а старушкам по маленькому головному платку; и каждый раз, что я опускал руку в карман, чтобы заплатить деньги, – мой неразменный рубль все был на своем месте. Потом я купил для ключницыной дочери, которая должна была выйти замуж, две сердоликовые запонки и, признаться, сребел; но бабушка по-прежнему смотрела хорошо, и мой рубль после этой покупки тоже преблагополучно оказался в моем кармане.

– Невесте идет принарядиться, – сказала бабушка, – это памятный день в жизни каждой девушки, и это очень похвально, чтобы ее обрадовать, – от радости всякий человек бодрее выступает на новый путь жизни, а от первого шага много зависит. Ты сделал очень хорошо, что обрадовал бедную невесту.

Потом я купил и себе очень много сластей и орехов, а в другой лавке взял большую книгу «Псалтырь», такую точно, какая лежала на столе у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имела несчастье прийтись по вкусу пленному теленку, который жил в одной избе со скотницею. Теленок по своему возрасту имел слишком много свободного времени и занялся тем, что в счаст-

ливый час досуга отжевал углы у всех листов «Псалтыря». Бедная старушка была лишена удовольствия читать и петь те псалмы, в которых она находила для себя утешение, и очень об этом скорбела.

Я был уверен, что купить для нее новую книгу вместо старой было не пустое и не излишнее дело, и это именно так и было: когда я опустил руку в карман – мой рубль был снова на своем месте.

Я стал покупать шире и больше, – я брал все, что, по моим соображениям, было нужно, и накопил даже вещи слишком рискованные, – так, например, нашему молодому кучеру Константину я купил наборный поясной ремень, а веселому башмачнику Егорке – гармонию. Рубль, однако, все был дома, а на лицо бабушки я уж не смотрел и не допрашивал ее выразительных взоров. Я сам был центр всего, – на меня все смотрели, за мною все шли, обо мне говорили.

– Смотрите, каков наш барчук Миколаша! Он один может скупить целую ярмарку, у него, знать, есть неразменный рубль.

И я почувствовал в себе что-то новое и до тех пор незнакомое. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали, все за мною ходило и все обо мне говорили – как я умен, богат и добр.

Мне стало беспокойно и скучно.

## Глава шестая

А в это самое время, — откуда ни возьмись — ко мне подошел самый пузатый из всех ярмарочных торговцев и, сняв картуз, стал говорить:

— Я здесь всех толще и всех опытнее, и вы меня не обманете. Я знаю, что вы можете купить все, что есть на этой ярмарке, потому что у вас есть неразменный рубль. С этим не шутка удивлять весь приход, но, однако, есть кое-что такое, чего вы и за этот рубль не можете купить.

— Да, если это будет вещь ненужная, — так я ее, разумеется, не куплю.

— Как это «ненужная»? Я вам не стал бы и говорить про то, что не нужно. А вы обратите внимание на то, кто окружает нас с вами, несмотря на то, что у вас есть неразменный рубль. Вот вы себе купили только сластей да орехов, а то вы все покупали полезные вещи для других, но вот как эти другие помнят ваши благодеяния: вас уж теперь все позабыли.

Я посмотрел вокруг себя и, к крайнему моему удивлению, увидел, что мы с пузатым купцом стоим, действительно, только вдвоем, а вокруг нас ровно никого нет. Бабушки тоже не было, да я о ней и забыл, а вся ярмарка отвалила в сторону и окружила какого-то длинного, сухого человека, у которого поверх полушубка был надет длинный полосатый жилет, а на нем нашиты стекловидные пуговицы, от которых,

когда он поворачивался из стороны в сторону, исходило слабое, тусклое блистание.

Это было все, что длинный, сухой человек имел в себе привлекательного, и, однако, за ним все шли и все на него смотрели, как будто на самое замечательное произведение природы.

– Я ничего не вижу в этом хорошего, – сказал я моему новому спутнику.

– Пусть так, но вы должны видеть, как это всем нравится. Поглядите, – за ним ходят даже и ваш кучер Константин с его щегольским ремнем, и башмачник Егорка с его гармонией, и невеста с запонками, и даже старая скотница с ее новою книжкой. А о ребятишках с свистульками уже и говорить нечего.

Я осмотрелся, и в самом деле все эти люди действительно окружали человека с стекловидными пуговицами, и все мальчишки на своих свистульках пищали про его славу.

Во мне зашевелилось чувство досады. Мне показалось все это ужасно обидно, и я почувствовал долг и призвание стать выше человека со стекляшками.

– И вы думаете, что я не могу сделаться больше его?

– Да, я это думаю, – отвечал пузан.

– Ну, так я же сейчас вам докажу, что вы ошибаетесь! – воскликнул я и, быстро подбежав к человеку в жилете поверх полушубка, сказал: – Послушайте, не хотите ли вы продать мне ваш жилет?

## Глава седьмая

Человек со стекляшками повернулся перед солнцем, так что пуговицы на его жилете издали тусклое блистание, и отвечал:

– Извольте, я вам его продам с большим удовольствием, но только это очень дорого стоит.

– Прошу вас не беспокоиться и скорее сказать мне вашу цену за жилет.

Он очень лукаво улыбнулся и молвил:

– Однако вы, я вижу, очень неопытны, как и следует быть в вашем возрасте, – вы не понимаете, в чем дело. Мой жилет ровно ничего не стоит, потому что он не светит и не греет, и потому я отдаю вам даром, но вы мне заплатите по рублю за каждую нашитую на нем стекловидную пуговицу, потому что эти пуговицы хотя тоже не светят и не греют, но они могут немножко блеснуть на минутку, и это всем очень нравится.

– Прекрасно, – отвечал я, – я даю вам по рублю за каждую вашу пуговицу. Снимайте скорей ваш жилет.

– Нет, прежде извольте отсчитать деньги.

– Хорошо.

Я опустил руку в карман и достал оттуда один рубль, потом снова опустил руку во второй раз, но... карман мой был пуст... Мой неразменный рубль уже не возвратился... он

пропал... он исчез... его не было, и на меня все смотрели и смеялись.

Я горько заплакал и... проснулся...

## Глава восьмая

Было утро; у моей кровати стояла бабушка, в ее большом белом чепце с рюшевыми мармотками, и держала в руке новенький серебряный рубль, составлявший обыкновенный рождественский подарок, который она мне дарила.

Я понял, что все виденное мною происходило не наяву, а во сне, и поспешил рассказать, о чем я плакал.

– Что же, – сказала бабушка, – сон твой хорош, – особенно если ты захочешь понять его, как следует. В баснях и сказках часто бывает сокрыт особый затаенный смысл. Неразменный рубль – по-моему, это талант, который Провидение дает человеку при его рождении. Талант развивается и крепнет, когда человек сумеет сохранить в себе бодрость и силу на пути четырех дорог, из которых с одной всегда должно быть видно кладбище. Неразменный рубль – это есть сила, которая может служить истине и добродетели, на пользу людям, в чем для человека с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольствие. Все, что он сделает для истинного счастья своих ближних, никогда не убавит его духовного богатства, а напротив – чем он более черпает из своей души, тем она становится богаче. Человек в жилетке сверх



теплого полушубка – есть суета, потому что жилет сверх полушубка не нужен, как не нужно и то, чтобы за нами ходили и нас прославляли. Суета затемняет ум. Сделавши кое-что – очень немного в сравнении с тем, что бы ты мог еще сделать, владея безрасходным рублем, ты уже стал гордиться собою и отвернулся от меня, которая для тебя в твоём сне изображала опыт жизни. Ты начал уже хлопотать не о добре для других, а о том, чтобы все на тебя глядели и тебя хвалили. Ты захотел иметь ни на что не нужные стекляшки, и – рубль твой растаял. Этому так и следовало быть, и я за тебя очень рада, что ты получил такой урок во сне. Я очень бы желала, чтобы этот рождественский сон у тебя остался в памяти. А теперь поедem в церковь и после обедни купим все то, что ты покупал для бедных людей в твоём сновидении.

– Кроме одного, моя дорогая.

Бабушка улыбнулась и сказала:

– Ну, конечно, я знаю, что ты уже не купишь жилета с стекловидными пуговицами.

– Нет, я не куплю также и лакомств, которые я покупал во сне для самого себя.

Бабушка подумала и сказала:

– Я не вижу нужды, чтобы ты лишил себя этого маленького удовольствия, но... если ты желаешь за это получить гораздо большее счастье, то... я тебя понимаю...

И вдруг мы с нею оба обнялись и, ничего более не говоря друг другу, оба заплакали. Бабушка отгадала, что я хотел все

мои маленькие деньги извести в этот день не для себя. И когда это было мною сделано, то сердце мое исполнилось такой радостью, какой я не испытывал до того еще ни одного раза. В этом лишении себя маленьких удовольствий для пользы других я впервые испытал то, что люди называют увлекательным словом – полное счастье, при котором ничего больше не хочешь.

Каждый может испробовать сделать в своем нынешнем положении мой опыт, и я уверен, что он найдет в словах моих не ложь, а истинную правду.

*1894*

# К. В. Лукашевич

## Рождественский праздник



Далекий Рождественский Сочельник. Морозный день. Из окон видно, как белый, пушистый снег покрыл улицы, крыши домов и деревья. Ранние сумерки. Небо синеет.

Мы с Лидой стоим у окна и смотрим на небо.

– Няня, скоро придет звезда? – спрашиваю я.

– Скоро, скоро, – торопливо отвечает старушка. Она накрывает на стол.

– Няня, смотри, вон уже звезда пришла на небо, – радостно говорит Лида.

– Эта не та.

– Почему не та? Посмотри хорошенько.

– Та будет побольше... Эта очень маленькая, – говорит няня, едва взглянув в окно.

– Ты сказала до первой звезды, – плаксиво замечает сестра.

– Ведь мы проголодались. Очень есть хочется, – говорю я.

– Подождите, детушки... Теперь уже скоро... Потерпите.

– Дай ты им чего-нибудь перекусить... Совсем заморила девочек. – Мама услышала наш разговор, вышла из своей комнаты и крепко целует нас.

– Вот еще, что выдумала!.. Разве можно есть до звезды? Целый день постились. И вдруг не дотерпеть. Грешно ведь, – серьезно возражает няня. Нам тоже кажется, что это грешно. Ведь у нас будет «кутья». Надо ее дожидаться. Взрослые целый день постились и не едят до звезды. Мы тоже решили поститься, как и большие... Но сильно проголодались и нетерпеливо повторяем: «Ах, скорее бы, скорее пришла звезда».

Няня и мама накрыли стол чистой скатертью и под скатерть положили сено... Нам это очень нравится. Мы знаем, что это делается в воспоминание величайшего события: Господь наш родился в пещере и был положен в ясли на сено.

Мы не обедали, как обычно, в три часа, а будем ужинать «со звездой», т. е. когда стемнеет и на небе загорятся первые

звездочки. У нас будет «кутья» из рису, «кутья» из орехов, пшеница с медом и разные постные кушанья из рыбы. Кроме того, на столе поставят в банках пучки колосьев пшеницы и овса. Все это казалось нам, детям, важным и знаменательным. В нашей квартире так было чисто прибрано, всюду горели лампы; настроение было благоговейное, и целый день поста и эта «кутья» раз в году – все говорило о наступлении великого праздника... Няня, конечно, не раз напоминала нам, что «Волхвы принесли Божественному младенцу ладан, смиру, золото и пшеницу». Оттого в Сочельник надо есть пшеницу.

Папа наш был малоросс, и многие обряды совершались в угоду ему. Где-то далеко в маленьком хуторе Полтавской губернии жила его мать с сестрой и братом. И там они справляли свою украинскую вечерю и «кутью». Папа нам это рассказывал и очень любил этот обычай. Но в сером домике бабушки и дедушки тоже в Рождественский Сочельник всегда справлялась «кутья»... Как у них, так и у нас непременно бывал в этот вечер приглашен какой-нибудь одинокий гость или гостья: дедушкин сослуживец или папин товарищ, которому негде было встретить праздник. Справив «кутью», мы отправлялись ко Всенощной. Но мы с сестрой в волнении: ждем чего-то необычайного, радостного. Да и как не волноваться: ведь наступило Рождество.

Может быть, будет елка... Какое детское сердце не забьется радостью при этом воспоминании. Великий праздник

Рождества, окруженный духовной поэзией, особенно понятен и близок ребенку... Родился Божественный Младенец, и Ему хвала, слава и почести мира. Все ликovalo и радовалось. И в память Святого Младенца в эти дни светлых воспоминаний, все дети должны веселиться и радоваться. Это их день, праздник невинного, чистого детства...

А тут еще является она – зеленая стройная елочка, с которой сохранилось столько легенд и воспоминаний... Привет тебе, милая любимая елочка!.. Ты несешь нам среди зимы смолистый запах лесов и, залитая огоньками, радуешь детские взоры, как по древней легенде обрадовала Божественные очи Святого Младенца. У нас в семье был обычай к большим праздникам делать друг другу подарки, сюрпризы, неожиданно порадовать, повеселить... Все потихоньку готовили свои рукоделия, мы учили стихи; под Новый год и на Пасху под салфетки каждому клали приготовленные подарки... Нас, детей, это очень занимало и радовало. Подарки бывали простые, дешевые, но вызывали большой восторг.

Елку показывали неожиданно, сюрпризом, и родители, няня и тетушки готовили ее, когда мы ложились спать.

За два или за три дня до Рождества мама печально говорила: «Бедные девочки, нынче им елки не будет... Денег у нас с папой нет. Да и елки дороги. В будущем году мы вам сделаем большую хорошую елку. А нынче уж проживем без елки...»

Против таких слов ничего нельзя было возразить... Но в

огорченной детской душе все-таки таилась и обида, и смутная надежда. Веришь и не веришь словам мамы и близких.

В первый день Рождества сколько счастливых детских голов поднимается ото сна с радостной грезой, в которой мерещится хвойное деревце, сколько наивных ожиданий наполняет детское воображение... И как весело, заманчиво мечтать о золотой рождественской звезде, о какой-нибудь кукле, барабане, ярких огоньках на ветвях любимого деревца. У всех детей столько мечтаний, желаний, столько надежд связано с праздником Рождества.

– Лида, Лида, понюхай, ведь елкой пахнет, – говорю я, просыпаясь в рождественское утро в самом веселом расположении духа. Румяное, полное лицо сестры отрывается от подушки. Она уморительно морщит свой маленький нос.

– Да, пахнет... Правда... Как будто бы пахнет.

– А как же говорили, что елки не будет в этом году!

– Может, и будет. В прошлом году тоже сказали: не будет. А потом все было, – вспоминает сестра. Няня уже тут как тут.

– Нянечка, отчего елкой пахнет? – серьезно спрашиваю я.

– Откуда ей пахнуть... Когда ее и в помине-то нет... Вставайте, барышни-сударышни. Сейчас «христославы» придут...

– Это дедушкины мальчишки?

– Наверно, со звездой. Дедушка им красивую клеил.

– Конечно, наш забавник старался для своих ребят... Бы-

ла я у них, весь пол в кабинете замусорен, точно золотом залит... А звезда горит, переливается... Вот увидите, что это за звезда.

В то далекое время был обычай «христославам» ходить по квартирам «со звездой» и петь рождественские песни. Обыкновенно в каждом доме собиралась местная беднота: мальчишки-подростки выучивали рождественские песни, делали звезду и шли по квартирам славить Христа. Не успеешь одеться, умыться, как, бывало, няня скажет: «Пришли со звездой». Слышим топот детских ног и партия человек шесть – десять войдет в комнату. Мальчишки встанут перед образами и запоют «Рождество Твое» и «Дева днесь»... Затем громко поздравят с праздником. Иногда это пение выходило очень стройно и красиво. Было что-то трогательное и праздничное в появлении «христославов». Мы с сестрой очень это любили, радовались и с нетерпением ожидали их прихода.

«Христославы» приходили в первый день несколько раз. У нас никому не отказывали: всех оделяли копейками и пряниками... Но мы особенно ждали «дедушкиных мальчишек». Мы бы узнали их из тысячи, они появлялись с такой прекрасной, замысловатой звездой, какой ни у кого не было. Ведь ее делал сам наш художник – дедушка. Даже нянечка и та, как-то особенно ласково и приветливо говорила:

– Ну вот, наконец-то и дедушкины ребята идут.

Мы замирали от волнения... Ребята застенчиво входят в



комнату, а впереди них движется прекрасная золотая звезда... Она на высоком древке, кругом золотое сияние – дрожит и переливается... А в середине – изображение Рождества Христова.

– Видишь, Лида, там Христос родился, – указываю я сестре на звезду.

– Вижу... Это дедушка нарисовал... Знаю...

Нам казалось, что дедушкины мальчики пели как-то особенно громко и стройно...

Знакомые приветливые лица «босоногой команды» улыбались нам с сестрой... А мы конфузились и прятались за няню, за маму. «Дедушкиных мальчишек» оделяли, конечно, щедрее других. Их даже поили горячим сбитнем... Как они бывали рады и долго вспоминали об этом.

В первый день Рождества несколько омрачалось наше радостное настроение... Мы не знали, будет у нас елка или нет...

– Мама говорит, что не будет...

– А почему она смеется, – взволнованно говорю я сестре. – Отвернулась и засмеялась...

– Она всегда смеется...

– А почему дверь в их комнату закрыта? И елкой пахнет!..

– Мама сказала, что там был угар... И комнату проветривают. Холодно там.

Рассказ про угар похож на правду и начинаешь ему верить. Все-таки волнение не покидает нас. И мы таинственно

советуемся:

– Можно подглядеть в щелочку.

– Нет, нянечка говорила, что нехорошо подглядывать.

Но искушение бывало так велико, что мы украдкой подглядывали в щелочку... И видели что-то прекрасное, сверкающее, зеленое... Похожее на елку... Бывало, в своем уголке мы уже переиграем в «христославов», устроим из какого-нибудь цветка куклам елку. Но когда придут бабушка и дедушка с тетями и принесут в руках пакеты, то надежда снова наполнит наши сердца... Вскоре тетя Манюша займет нас рассказом... Заслушаешься и забудешь на время об елке... Вдруг мама запоем что-нибудь веселое... И нас торжественно введут в закрытую комнату. Дверь распахнулась – и там сияет огнями елка. Не знаю, хорош ли был старинный прием внезапно радовать детей елкой. Восторг бывал так силен, что дух захватывало от радости. Стоишь долго, рот разиня, и слова не можешь сказать. Глаза сверкают, щеки разгорятся и не знаешь, на что смотреть. А мама с папой схватят за руки и начнут кружиться вокруг елки с песнями.

Елка наша бывала скромная, маленькая, но убранная красиво, с любовью. Под елкой лежат подарки. Каждый чем-нибудь порадует другого. Тетеньки вышили нам передники. Бабушка сшила по мячику из тряпок. Папа с дедушкой сделали скамейки; мама нарисовала картинки. Няня одела наших кукол. Мы тоже всем сделали подарки: кому стихи, кому закладку, кому связали какие-то нарукавнички. Все было сде-

лано по силам и с помощью няни. Взрослые, особенно мама и тетеньки, с нами пели и плясали кругом елки. Было весело. Но, к сожалению, в раннем детстве на наших елках и праздниках никогда не бывало детей; у нас совсем не было маленьких друзей... Помню, как-то раз няня привела детей прачки и посадила под елку.

Сначала мы думали, что это огромные куклы... Но когда рассмотрели, то не было предела восторгу и радости. Мы не знали, как и чем занять, повеселить и одарить наших друзей... Ребенок все же рвется к обществу своих сверстников, к детским интересам и играм с товарищами. И кажется, та наша елка, когда у нас были в гостях дети прачки, была самая веселая и памятная.

Совсем другие елки бывали у дедушки... На них бывало слишком много детей. «Папенька для своих мальчишек старается, а вовсе не о внуках думает», – недовольным голосом говорила тетя Саша. Но и внуки бывали в неопisanном восторге от дедушкиной елки. В маленькой квартирке серого домика скрыть само деревцо бывало невозможно... И мы его видели заранее – прелестное и разукрашенное затейливыми цепочками, фонариками, звездами и бонбоньерками. Все это дедушка клеил сам, и ему помогали папа и мама...

Но, кроме елки, на празднике нас и ребят «босоногой команды», которых в кабинете дедушки набиралось человек двенадцать – пятнадцать, всегда ожидал какой-нибудь сюрприз, который нас радовал и увлекал не менее елки. Наш за-

тейник дедушка делал удивительные вещи: ведь он был мастер на все руки. «Что-то покажет нам дедушка? Что он еще придумал?!» – волновались мы с Лидой.

Нас и других гостей отправляли в кухню, а в кабинете слышался шепот нетерпеливых голосов. Дедушка шел в залу и там сначала звонил в какие-то звонки, затем в свистульку, кричал петухом. После садился за свое фортепиано и сам играл старинный трескучий марш. Он только его и знал. Под этот марш мы выходили из кухни, а мальчишки – из кабинета. Их обыкновенно выводила мама или наш отец. Мы все под дедушкин марш обходили елку и садились на приготовленные скамейки. Сразу же начиналось представление. Каждый год оно бывало различное: однажды дедушка устроил кукольный театр, и все его бумажные актеры говорили на разные голоса, кланялись, пели, танцевали, как настоящие. В другой раз он показывал фокусы. При этом у него на голове была надета остроконечная шапка и черная мантия с золотыми звездами. Наивные зрители были поражены, как это у дедушки изо рта выходит целый десяток яблок, из носа падают монеты, исчезает в руках платок. Мы все считали его великим магом и чародеем.

Но лучше всего дедушка устраивал туманные картины. При помощи нашего отца он сам сделал великолепный волшебный фонарь, сам нарисовал на стеклах массу картин: это были вертящиеся звездочки, прыгающие друг через друга чертенята, вырастающий у старика нос необыкновенных раз-

меров... При этом все показываемые картины старик пересыпал рассказами и прибаутками, шутками; показывая на экране какую-то тощенькую девицу, он говорил: «Вот вам девица Софья, три года на печи сохла, встала, поклонилась, да и переломилась. Хотел ее спаять, не будет стоять; хотел сколотить – не будет ходить... Я взял ее иголкой сшил и легонько пустил».

Все, конечно, покатывались от смеха, особенно мальчишки.

После представления шло веселье вокруг зажженной елки. Дедушка играл свой марш, и ребята ходили и даже плясали... Помню, что всех ребят, как и у нас, поили горячим сбитнем и чем-то угощали... Под конец бывал такой номер, против которого всегда восставали бабушка и тетки. И нам в нем строго было запрещено участвовать. Но нас он занимал и привлекал, и мы завидовали, что не можем принять участия. Елку тушили; дедушка валил ее на пол и кричал: «Разбирай, ребята!» Тут уже начиналась свалка, крики и шум. Ребята бросались на елку и очищали ее до последнего пряника... Затем со смехом выволакивали на двор и там обдирали даже ветки...

Дедушка бывал очень весел и доволен за свою босоногую команду. Он сам превращался в ребенка: пел, шутил, возился, играл свой марш... Каким светлым лучом бывал этот праздник в сереньком домике для ребят горькой бедноты, которые попадали на эту елку «советника». Она им снилась целый год и блестела еще ярче, чем та рождественская

звезда, которую клеил им дедушка и с которою они славили Христа.

# А. П. Чехов

## Елка



Высокая, вечно зеленая елка судьбы увешана благами жизни... От низу до верху висят карьеры, счастливые случаи, подходящие партии, выигрыши, кукиши с маслом, щелчки по носу и проч. Вокруг елки толпятся взрослые дети. Судьба раздает им подарки...

– Дети, кто из вас желает богатую купчиху? – спрашивает она, снимая с ветки краснощекую купчиху, от головы до

пяток усыпанную жемчугом и бриллиантами... – Два дома на Плющихе, три железные лавки, одна портерная и двести тысяч деньгами! Кто хочет?

– Мне! Мне! – протягиваются за купчихой сотни рук. – Мне купчиху!

– Не толпитесь, дети, и не волнуйтесь... Все будете удовлетворены... Купчиху пусть возьмет себе молодой эскулап. Человек, посвятивший себя науке и записавшийся в благодетели человечества, не может обойтись без пары лошадей, хорошей мебели и проч. Бери, милый доктор! Не за что... Ну-с, теперь следующий сюрприз! Место на Чухломо-Пошехонской железной дороге! Десять тысяч жалованья, столько же наградных, работы три часа в месяц, квартира в тринадцать комнат и проч... Кто хочет? Ты, Коля? Бери, милый! Далее... Место экономки у одинокого барона Шмауса! Ах, не рвите так, mesdames! Имейте терпение!... Следующий! Молодая, хорошенькая девушка, дочь бедных, но благородных родителей! Приданого ни гроша, но зато натура честная, чувствующая, поэтическая! Кто хочет? (Пауза.) Никто?

– Я бы взял, да кормить нечем! – слышится из угла голос поэта.

– Так никто не хочет?

– Пожалуй, давайте я возьму... Так и быть уж... – говорит маленький, подагрический старикашка, служащий в духовной консистории. – Пожалуй...

– Носовой платок Зориной! Кто хочет?



– Ах!.. Мне! Мне!.. Ах! Ногу отдавили! Мне!

– Следующий сюрприз! Роскошная библиотека, содержащая в себе все сочинения Канта, Шопенгауэра, Гёте, всех русских и иностранных авторов, массу старинных фолиантов и проч. ... Кто хочет?

– Я-с! – говорит букинист Свинопасов. – Па-жалте-с!

Свинопасов берет библиотеку, отбирает себе «Оракул», «Сонник», «Письмовник», «Настольную книгу для холостяков»..., остальное же бросает на пол...

– Следующий! Портрет Окрейца!

Слышен громкий смех...

– Давайте мне... – говорит содержатель музея Винклер. – Пригодится...

– Далее! Роскошная рамка от премии «Нови» (пауза). Никто не хочет? В таком случае далее... Порванные сапоги!

Сапоги достаются художнику... В конце концов елка обирается и публика расходится... Около елки остается один только сотрудник юмористических журналов...

– Мне же что? – спрашивает он судьбу. – Все получили по подарку, а мне хоть бы что. Это свинство с твоей стороны!

– Всё разобрали, ничего не осталось... Остался, впрочем, один кукиш с маслом... Хочешь?

– Не нужно... Мне и так уж надоели эти кукиши с маслом... Кассы некоторых московских редакций полнехоньки этого добра. Нет ли чего посущественнее?

– Возьми эти рамки...

- У меня они уже есть...
- Вот уздечка, вожжи... Вот красный крест, если хочешь... Зубная боль... Ежовые рукавицы... Месяц тюрьмы за диффамации...
- Всё это у меня уже есть...
- Оловянный солдатик, ежели хочешь... Карта Севера... Юморист машет рукой и уходит восвояси с надеждой на елку будущего года...

*1884*

# А. П. Чехов

## Ванька



Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугли-

во оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! – писал он. – И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечи, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка, лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда

оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

— Табачку нешто нам понюхать? — говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит:

— Отдирай, примерзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почитительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потеряли снегом...

Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать: «А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволоч меня за волосы на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать.

Подмастерья надо мной насмежаются, посылают в кабаки за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребяенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бога молить, увези меня отсюда, а то помру...» Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть, – продолжал он, – Богу молиться, а если что, то секи меня как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а померешь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома всё господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пускают, а раз я видал в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоящие, даже такой есть один крючок,

что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто каждое... А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не рассказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собою внука. Веселое было время! И дед кричал, и мороз кричал, а глядя на них, и Ванька кричал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой... Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись по сугробам летит стрелой заяц... Дед не может, чтоб не крикнуть:

— Держи, держи... держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее... Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадрили. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спроводили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину...

«Приезжай, милый дедушка, – продолжал Ванька, – Христом Богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А намедни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и насилу очухался. Пропавшая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».

Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес: «На деревню дедушке».

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу...

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель...

Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...



1886

# К. М. Станюкович

## Рождественская ночь



Волшебная тропическая ночь, вслед за закатом солнца, почти внезапно опустилась над Батавией и, благодаря ветерку, дувшему с моря, дышала нежной прохладой, казавшейся таким счастьем после палящего зноя дня. Мириады звезд зажглись на небе, и луна, круглая и полная, лила свой серебристый свет с высоты бархатисто-темного купола и, медлен-

но плывя, казалась задумчивой и томной.

В эту чудную ночь, накануне Рождества Христова, белый катер с клипера «Забияка», стоявшего верст за шесть, за семь на рейде, – дожидался у одной из пристаней нижней части города господ офицеров, бывших на берегу.

Эта нижняя, «деловая» часть города с конторами, пакгаузами, лавками, складами и тесно скученными домами, исключительно населенная туземцами – малайцами и метисами, да пришлыми китайцами, ютилась почти у самого моря, кишашего акулами и кайманами, в нездоровой, сырой и болотистой местности. Настоящие хозяева острова Явы, голландцы, жили наверху, на горе, в европейской Батавии, роскошном, чистом городке изящных домов, вилл и гостиниц, тонувшем в густой зелени садов и парков, в которых высились гигантские пальмы. Оттуда с ранней зари деловые люди спускались в малайский квартал и в десять часов утра уже возвращались домой в свои прохладные дома. Адская жара заставляла прекращать занятия, возобновлявшиеся снова за несколько часов до заката и оканчивающиеся часов в десять вечера.

Оживленная и шумная днем жизнь в малайском квартале затихла. Огоньки в маленьких домах потухли, и узкие и грязные, прорезанные смертоносными каналами, улицы нижнего города опустели. Даже не видно было шныряющих у пристаней ночных темнокожих фей-малаек, чтобы смущать матросов всевозможных национальностей, давно не бывших на

берегу, и своим более чем откровенным нарядом, и выразительными пантомимами, и острым, неприятным запахом кокосового масла, которым малайки расточительно пользуются, смазывая им и волосы, и руки, и шею. Пусто везде. Изредка лишь мелькнет громадный бумажный фонарь запоздалого разносчика всяких товаров, китайца – этого еврея почти всего востока, возвращающегося из верхнего города, от варваров, к себе домой на отдых.

Где-то вблизи на рейде, на каком-то судне пробило шесть склянок – одиннадцать часов. Туземец спит. У пристани и далеко кругом стоит мертвая тишина с однообразным шепотом морского прибоя, который нежно лижет береговой вязкий песок. Только по временам эта торжественная, полная какой-то таинственности, тишина тропической ночи нарушается вдруг шумными всплесками, когда крокодил, после дневного крепкого сна на отмелях под отвесными лучами солнца, забавляется в воде, ловя добычу.

И снова тишина.

Русские матросы с «Забияки», катерные гребцы, в ожидании господ, находились все на катере. Лунный свет падал на их белые рубахи и захватывал некоторые лица. Несколько человек, растянувшись под банками, сладко спали. Один чернявый молодой матросик задумчиво и как-то вопросительно поглядывал то на мерцающие звезды, то на сверкающую серебром полосу моря и видимо думал какую-то думу, судя по его напряженно-строгому лицу. По временам, когда

раздавались всплески, он вздрагивал и пугливо озирался на товарищей. А человек шесть или семь собрались около кормы и, рассевшись по бортам на сиденьях, вели беседу как-то особенно тихо, почти шепотом, словно бы боясь нарушить тишину этой волшебной ночи и точно несколько пугаясь ее жуткой таинственности. Дымок нескольких курящихся трубочек с острым запахом махорки приятно щекотал обоняние беседующих гребцов.

Кроме русского катера, у пристани не было ни одной шлюпки.

Матросы вспоминали о России, о празднике на родине, высказывали желание поскорей вернуться домой, особенно те, которые по возвращении рассчитывали на отставку или, по крайней мере, на бессрочный отпуск. Вот уж третье Рождество они встречают в «чужих» и «жарких» местах... Опротивело... Скорей бы вернуться!

И несмотря на жизнь, хотя полную опасностей, но все-таки относительно сносную (на клипере и командир, и офицеры были люди порядочные и матросов не теснили) и сытую, каждого из матросов тянуло туда, на север, на далекую родину с ее бедами и нуждой, с покосившимися избами, соснами и елями, снегом и морозами.

После этих воспоминаний все как-то притихли. Несколько минут длилось молчание.

— Гляди... Звезда упала... Еще... И куда она падает, братцы? — тихо спросил чернявый матрос.

– В окиян, известно. Опричь окияна ей некуда упасть! – отвечал пожилой здоровый матрос уверенным тоном.

– А ежели на землю? – спросил кто-то.

– Нельзя, потому все как есть расшибет. По самой этой причине Бог и валит звезду в море... Туда, мол, тебе место...

Чернявый матросик, видимо неудовлетворенный этим объяснением, снова стал глядеть на небо.

И необыкновенно приятный грудной голос загребного Ефремова заговорил:

– Это Бог виноватую звезду наказывает... Потому звезды тоже бунтуют... И особенно много, братцы, падает их в эту ночь...

– По какой такой причине, братец? – задорно спросил пожилой, плотный матрос.

– А по такой причине, милый человек, что в эту ночь не бунтуй, а веди себя смирно, потому как в эту самую ночь Спаситель родился... Великая эта ночь... Нашему рассудку и не понять. И как ежели подумаешь, что родился Он в бедности, пострадал за бездольных людей и принял смерть на кресте, так наши-то все горя ничего не стоят... Ни одной полушки!.. Да, братцы, великая эта ночь. И кто в эту ночь обидит младенца, – тому великое будет наказание... Так старик один божественный мне сказывал, странник. В книгах, говорит, все показано...

– Ишь ты, подлый!.. Так и мутит воду! – проговорил кто-то, когда послышался вблизи всплеск воды...

– Нешто крокодил?

– Кому другому... Гляди – башка его над водой...

Все глаза устремились на одну точку. На освещенной светом луны полосе воды видна была отвратительная черная голова каймана, тихо плывшего неподалеку от шлюпки к берегу.

– Погани-то всякой в этих местах!.. И крокодил, и акула проклятая... Сказывают, на берегу, в лесах и тигра... Однако загуляли что-то наши офицеры на берегу, братцы... Скоро и полночь... А ты, Живков, что все на небо глаза пялишь? Ай любопытно? Не про нас, брат, писано! – проговорил, обращаясь к чернявому матросику, пожилой, плотный матрос.

В эту минуту с берега вдруг донесся чей-то жалобный крик.

Матросы притихли. Кто-то сказал:

– А ведь это дите плачет...

– Дите и есть... По близности где-то... Ишь, горемычный, заливается... Заплутал, что ли...

– Кто-нибудь при ем должен быть...

Жалобный, беспомощный плач не прекращался.

– Сходил бы кто посмотреть, что ли? – заметил плотный, пожилой матрос, не двигаясь, однако, сам с места.

– Куда ходить? Офицеры могут вернуться, а гребца нет! – строго проговорил унтер-офицер, старшина на катере.

– И то правда! – сказал плотный матрос.

– Что ж, так и бросить без призора младенца в этакую

ночь? – раздался приятный тенорок загребного Ефремова. – А ежели он один да без помощи?.. Это, Егорыч, не того... неправильно...

– Я мигом вернусь, Андрей Егорыч, только взгляну, в чем причина! – взволнованно проговорил чернявый матросик. – Дозвольте...

– Ну, ступай... Только смотри, Живков, не заблудись...

– И я с ним, Егорыч! – вымолвил Ефремов.

И оба матроса, выскочив из катера, бегом побежали по пустынному берегу на плач ребенка...

И очень скоро, почти у самого моря, они увидели крошечного черномазого мальчика в одной рубашонке, завязшего в мокром рыхлом песке.

Около не было ни души.

Матросы удивленно переглянулись.

– Эка идолы!.. Эка бесчувственные!.. Бросили ребенка... Это, брат Живков, неспроста... Погубить хотели младенца... Тут бы его крокодил и сожрал!.. Гляди... Ишь плывет... Почуял, видно...

И Ефремов взял на руки ребенка.

– А что же мы с ним будем делать?

– Что делать?.. Возьмем на катер... Там видно будет!.. Ну ты, малыш, не реви! – ласково говорил Ефремов, прижимая ребенка к своей груди. – Это сам Господь тебя вызволил...

Велико было изумление на катере, когда минут через десять вернулись оба матроса с плачущим ребенком на руках



и рассказали, как его нашли.

Унтер-офицер не знал, как ему и быть.

– Зачем вы его принесли? – строго спрашивал он, хотя сам в душе и понимал, что нельзя же было оставить ребенка.

– То-то принесли! И ты бы принес! – мягко и весело отвечал Ефремов. – Ребята, нет ли у кого хлеба?.. Он, може, голоден?..

Все матросы смотрели с жалостью на мальчика лет пяти. У кого-то в кармане нашелся кусок хлеба, и Ефремов сунул его малайчонку в рот. Тот жадно стал есть.

– Голоден и есть... Ишь ведь злодеи бывают люди!..

– А все-таки, ребята, нас за этого мальчонка не похвалят! Ишь пассажир объявился какой! – снова заметил унтер-офицер.

– Там видно будет, – спокойно и уверенно отвечал Ефремов. – Может, и похвалят!

Ребенок скоро заснул на руках у Ефремова. Он прикрыл его чехлом от парусов. И его некрасивое, белобрысое, далеко не молодое лицо светилось необыкновенной нежностью.

Скоро приехали с берега в двух колясках офицеры. Веселые и слегка подвыпившие, они уселись на катер.

– Отваливай!

– Ваше благородие, – проговорил старшина, обращаясь к старшему из находившихся на катере офицеров, – осмелюсь доложить, что на катер взят с берега пассажир...

– Какой пассажир?

– Малайский, значит, мальчонка... Так как прикажете, ваше благородие?..

– Какой мальчонка? Где он?

– А вот спит под банкой у Ефремова, ваше благородие... И унтер-офицер объяснил, как нашли мальчонку.

– Ну что ж?.. Пусть едет с нами... Фок и грот поднять! – скомандовал лейтенант.

Паруса были поставлены, и шлюпка ходко пошла в пол-ветра на клипер.

Ефремов уложил найденыша в свою койку и почти не спал до утра, поминутно подходя к нему и заглядывая, хорошо ли он спит.

Наутро доложили о происшествии капитану, и он разрешил оставить мальчика на клипере, пока клипер простоит в Батавии. В то же время он дал знать о ребенке губернатору, и маленького малайца обещали поместить в приют.

Неделю прожил маленький найденыш на клипере, и Ефремов пестовал его с нежностью матери. Мальчику сшили целый костюм и обули. И когда накануне ухода полицейский чиновник приехал за мальчиком, матросы через боцмана просили старшего офицера испросить у капитана разрешение оставить найденыша на клипере.

И Ефремов, успевший за это время привязаться к мальчику, ждал капитанского ответа с тревожным нетерпением.

Капитан не согласился.

Долго потом Ефремов вспоминал рождественскую ночь и

этого чуть было не погибшего мальчика, успевшего найти уголок в его сердце.

*1892*

# Н. А. Лухманова

## Чудо Рождественской ночи



### I

Барон Нино Бругин спускался с лестницы, застегивая последнюю пуговку изящной перчатки и бормоча своими румяными губами припев модной, кафешантанной пошлости,

слышанной им на одном великосветском рауте.

Бругин ехал на веселую елку и к «милой женщине», которая с такой грацией, с таким изящным цинизмом умела тратить чужие деньги, что он и другие друзья его наперерыв готовы были открыть перед нею свои бумажники, чтобы только видеть, как розовые пальчики вытаскивали оттуда ассигнации, как смеялись при этом влажные пунцовые губки, как, вместо слов благодарности, взмахивала и опускалась темная бахрома ресниц, пронося тень над бездонно-черными глазами.

«Да, есть женщины!» – мысленно воскликнул барон и, дернув правым плечом, дал знак лакею накинуть на себя меховую шинель. В эту самую минуту по лестнице послышались тяжелые ровные шаги. Бругин поморщился; грузное тело высокого мужчины вынырнуло из-за поворота ступенек раньше, чем шинель была надета, и перед ним стоял Яков Степанович Быков, знаменитый детский врач.

– Здравствуйте, доктор, очень рад, что мы с вами встретились; я, по правде сказать, не знал, что вы заезжаете к Мусе и вечером. Ну что, как наша больная?

Доктор опустил с последних ступеней, приподнял очки и своими зоркими глазами осмотрел с ног до головы изящного отца своей маленькой пациентки и отчеканил в упор:

– Очень плохо.

Бругин как-то глупо дернул рукою, державшей бобровую шапку.

– Очень плоха, очень плоха! – И тут же, подумав, что доктора всегда преувеличивают, сказал: – Ну, доктор, я вполне полагаюсь на вас, – и крикнул швейцару: – Подавай!

## II

Во втором же этаже, но далеко от детской, где кашляла, задыхаясь, маленькая пятилетняя Муся, в роскошном будуаре, обтянутом старинной шелковой материей, где по вялому розовому фону ползли путаные, золотые нити, перед громадным зеркалом без рамы, захваченным только по четырем углам четырьмя золочеными драконами, стояла женщина, маленькая, белокурая, вся белая, нежная, как пуховка, вынутая из коробочки с пудрой. Зою Владимировну Бругину, рассмотрев в подробности ее неправильное лицо, вздернутый носик, слишком пухлые губки, нельзя было назвать даже хорошенькой, но в общем все ее пышное, нежное тело, заключенное в роскошную рамку дорогого туалета, казалось прелестным и, главное, безукоризненно светски изящным. Она тоже ехала к одной из своих подруг, на елку для взрослых, с сюрпризами, подарками, без танцев, но с флиртом, под чарующую музыку приглашенных артистов. Эта Софи Тухубьева умела так хорошо устраивать такие *soirées intimes*<sup>6</sup> «для подруг». У нее квартира состояла из *coin* и *recoin*<sup>7</sup>, в

---

<sup>6</sup> Интимные вечера (*фр.*).

<sup>7</sup> Уголки и закоулки (*фр.*).

которых за разными ширмами, экранами, трельяжами, японскими веерами стояли диванчики, мягкие, круглые, обхватывавшие, как объятиями, приютившуюся на них парочку, и притом на этих вечерах всегда была музыка какая-то удивительно нежная, как под сурдинку; ее можно было не слушать, но под нее нельзя было не позволить говорить больше, чем надо, не отвечать нежнее, чем бы хотелось.

«Да, есть еще дома, где умеют веселиться!» – мысленно воскликнула Зоя Владимировна и, нагнув голову, подставила спину и подхватила волнистым движением плеч длинный собольи́й плащ, накинутый на нее горничной. Спускаясь с лестницы, она два раза замедлила шаги; в голове ее мелькнула мысль: «Зайти к больной Мусе?», но разум подсказал ей, что это глупо: у ребенка коклюш, и ведь девочке лучше оттого не станет, что она на минуту войдет к ней, а между тем она рискует унести в складках своего газа этот отвратительный лекарственный запах, который все-таки царит теперь в детской; наконец, это ужасно сентиментально: это материнское благословение перед отъездом на *soirée intime*. У ребенка есть бонна, доктор, игрушки – словом, все, что надо. Рослый, красивый лакей Петр крикнул швейцару: «Подавай!»

Сани барона взяли от крыльца налево. Крошечная каретка баронессы понеслась направо, точно судьбою было предназначено этим супругам идти всегда разными дорогами.

### III

Далеко от будуара с появляемыми розовыми обоями, там, за поворотом длинного коридора, в квартире Бругиных была отведена под *nursey*<sup>8</sup> большая четырехугольная комната. Светлый кретон с голубыми птицами, поющими на голубых цветах, обтягивал ее стены, пол был устлан войлоком, прикрытым американской клеенкой, всюду стояла гнутая венская мебель, и целый угол был заставлен громадным, низеньким, как скамейка, столом, на котором раскинулась кукольная жизнь: тут были миниатюрные будуары, гостиные, и кухня, и экипажи. Тут же сидели и лежали обитательницы этого детского рая, голубоглазые, румяные *baby*<sup>9</sup> и великолепные, как принцессы, куклы на пружинах. И все это было разложено, расставлено в мертвенном порядке. Давно уже крошечные ручки хозяйки не трогали здесь ничего, давно милый картавый голосок не воодушевлял все это безмолвное царство. В белой кровати за белым кружевным пологом лежало исхудалое тельце Мусеньки, восковые ручки скрестились на впалой груди, батистовая рубашечка сквозными складками обрисовывала худенькие обострившиеся плечики. Золотистая бахрома ресниц то поднималась, то снова, как усталая, падала на больные, печальные глазки. Уже четыре неде-

---

<sup>8</sup> Детская (*англ.*).

<sup>9</sup> Дитя (*англ.*).



ли, как девочка лежит, и каждый день видит над собою широкое лицо доктора и с скорбной покорностью позволяет ему поднимать себя, перевертывать, выслушивать; с молчаливым страхом следит она и за градусником, который ей вкладывают под мышку, и за противными бутылочками, у которых, как одно крыло изуродованной стрекозы, треплется белая длинная полоска рецепта; она, вздыхая, глотает лекарство и только беспомощно шепчет своей бонне: «Утри», протягивая бедные, бледные губки, мокрые от принятой дряни.

«В кого уродился этот ребенок? – думает бонна, обожающая свою Мусеньку, – что за доброе, нежное сердечко бьется в этой узенькой детской грудке, никаких капризов, никогда никакого крика, а какой восторг, когда в детскую появляется мать или отец». Барон и баронесса приходят всегда в разное время, но зато всегда оба одинаково торопятся. Мать, перегибаясь через решетку кровати, протягивает губы и, осторожно, смеясь, целует золотые волосы. Отец не может перегнуться через решетку, он рисковал бы сломать безукоризненный, как бы фарфоровый, пластрон своей рубашки, он только протягивает руку и дотрагивается до носика или подбородка Муси. Оба говорят несколько пустых, ласковых слов и, видимо не перенося печального вида больного ребенка, запаха лекарств, спешат удалиться. А между тем в эти короткие минуты визитов ребенок перерождается, ручки, ищущие удержать отца или мать, перестают дрожать,

глазки проясняются, ротик розовеет, улыбается, и снова, как прежде, лепечет ребенок приветствие, обещает быть умной и ждать, когда снова заглянет мама или папа.

Когда Муся была здорова, она была счастливее: раз или два в день ее сводили вниз. Вся завитая, раздушенная, она присутствовала при мамином туалете и изредка между пятью и семью баронесса брала ее с собою кататься.

Остальное время Муся проводила с выписанной из Парижа француженкой m-lle Lucienne и русской бонной Нютой. Француженка любила гулять с Мусей по Невскому и гуляла до тех пор, пока Муся не получила коклюш, а сама она пару рысаков. Ребенок слег в свою маленькую постельку, а француженка переехала в новую роскошную квартиру. Теперь у Муси была только Нюта, которая играла с ней, утешала ее, держала в объятиях во время приступов кашля и по вечерам молилась с нею коротенькой, детской молитвой, в которой упоминались имена: папы, мамы и нередко, под сурдинку, какой-нибудь сломанной куклы.

Худенькая ручка Муси высунулась из-под одеяла, неуверенным жестом прошлась по шелковому переплету кровати, точно девочка искала опоры, чтобы встать, и снова, обессиленная, упала; две слезинки скопились в уголках глаз и медленно потекли по исхудалому личику.

– Нюта!

– Что мое сокровище? – Нюта живо опустила абажур у лампы, около которой работала, подошла к кроватке и раз-

двинула кружевной полог. – Что, девочка?

– Папа, мама уехали?

– Уехали, Муся, у папы был красный цветок в петлице, у мамы – в волосах ее бриллиантовый месяц и белое легкое перышко.

Муся улыбнулась, и синие глазки ее засветились.

– Хорошо? – спросила она громче.

– Хорошо, Муся; я нарочно открыла дверь, чтобы из коридора видеть их. Мама да и папа хотели войти, но я сказала, что Муся дремлет, – солгала Нюта.

– Хотели? Ах, Нюта, зачем я дремала!

Снова в детской настало молчание, девочка забылась от слабости, и бонна сидела, боясь пошевелиться. Большие часы тикали мягко и ровно.

– Нюта! – опять послышался слабый голос девочки. – Сегодня елка?

– Да, у нас будет с тобой своя маленькая елка, она будет гореть всю ночь.

Из кровати послышался тихий, радостный смех.

## IV

Барон приехал к «милрой женщине» и застал там все то же знакомое ему, как собственная физиономия, общество и слышал все те же, не менее знакомые ему остроты и разговоры; только прежде вся эта атмосфера духов, легкого гра-

циозного цинизма действовала на него ободряюще, как бокал шампанского, а теперь он бессознательно принес с собою из дома эхо слов доктора, и что-то неосязаемое, неуловимое копошилось на дне его сердца. В зале «милой женщины» стояла громадная елка, убранная цветами, звездою и массою оригинальных и красивых бонбоньерок.

Гости становились все в ряд, «милая женщина» с своими подругами, с визгом и писком наивных пансионерок, махая открытыми до плеч руками, катила шары, и каждый ловил на удачу.

Барону Нико вдруг показалось, что «милая женщина» только сухо кивнула ему головой за плюшевую *autoûpière*<sup>10</sup>, в которой он прислал ей сегодня радужную на елку. Все ее улыбки, все стрелы ее кошачьих зеленоватых глаз были направлены на Жоржа Гудищева, длинного нескладного хлыща, получившего недавно громадное наследство. Жорж Гудищев лежал, растянувшись на кушетке, откинув руки и ноги с такою небрежностью, точно при полученных им богатствах нисколько не нуждался в этих «приростках». «Милая женщина» то и дело подбегала к нему, ероша ему волосы, и делала ненужные вопросы, на которые получала нелепые ответы, от которых все кругом хохотали.

Какой-то лицеист, тонкий, как хлыстик, прилично лысый, бледный, с синими подглазниками, как малокровная девушка, сел за рояль и заиграл вальс, по комнате завертелись па-

---

<sup>10</sup> Сумочка (*фр.*).

ры, пена кружевных юбок ласкала носы сидевших в креслах старичков, смех делался резче, согретые тела декольтированных женщин примешивали в душистую, ароматную атмосферу свой *odore di femme*<sup>11</sup>.

Какая-то глухая, странная злоба поднялась у Бругина на все и на всех. Подойдя к елке, он потушил две-три свечи и вдруг задумался и широко раскрытыми пустыми глазами глядел на зеленые ветви дерева.

Музыка, обрывки французских и русских фраз, топот ног – все исчезло, забылось, елка точно поднялась от земли и перенеслась далеко, далеко. Он увидел себя ребенком, вспомнил свою мать, вспомнил, как она любила своего Нику. И вдруг ему точно шепнул кто в ухо: «Муся».

Бругин провел рукою по глазам; в них была какая-то влага. Он вышел в прихожую, оттуда на площадку лестницы и уехал домой.

## V

Бругин поднялся по лестнице, отпер, не звоня, карманным ключом входную дверь своей квартиры, прошел освещенный коридор, взялся за ручку двери кабинета, постоял минуту и, тихо ступая на цыпочках, направился к дальней nursery. За дверью послышался милый, как нежное воркова-

---

<sup>11</sup> Аромат женщин (*ит.*).

нье, голосок Муси и ласковые тихие ответы бонны.

– Скоро елка? – говорит ребенок.

– Сейчас, деточка, закрой глазки и лежи смирно, пока я не скажу «готово».

– Хорошая будет у нас елка?

– Светлая, хорошая, с ангелом наверху.

– С ангелом! – ребенок тихо засмеялся. – А папа и мама придут на мою елку?

– Н-не знаю, Мусик. Папа и мама приедут усталые и... верно, у себя помолятся за свою больную Мусю и благословят ее.

«Помолятся», «благословят»... слова эти защекотали горло стоявшего за дверьми барона, и снова на глаза навернулась непрошенная влага.

– А вдруг, Нюта, ты скажешь «готово», я открою глаза, и папа и мама тут.

Девочка снова тихо, радостно засмеялась, но бонна не ответила ничего.

В узенькую щель двери, за которою стоял Бругин, блеснула ниточка красноватого света и, ломаясь, трепеща, легла на линолеум коридора, еще минута, и елка зажжена, он услышал «готово» и, не давая себе отчета, сделал шаг вперед. Муся радостно, тихо вскрикнула и протянула к нему худенькие, прозрачные ручки.

Сильное, властное чувство крови впервые заговорило в Бругине. Подойдя к кровати, он дрожащими руками вынул

из пазов крючки, спустил боковую решетку и встал на колени, осторожно, тихо протянул левую руку под подушку, правой обнял исхудалое тельце и прижал к груди свою крошечную Мусю.

– Девочка моя, девочка, крошка, Муся, – шептал он, и крупные слезы падали из его глаз, и пластрон его рубашки, с легким «краком», гнулся и ломался, букетик красной гвоздики выскочил из петлицы и по лепесткам рассыпался по полу и одеялу.

Муся, худенькая, хрупкая, как крошечная птичка, выпавшая из гнезда, прижалась к отцовской груди и лепетала что-то непонятное, нераздельное, но что лучше слов передавало восторг, переполнявший ее маленькое, любящее сердечко.

Бонна Нюта стояла у елки и глядела на группу, не замечая, что и у нее, на ее добрых, карих глазах накалились слезы и падали на передник.

А крошечная елка, поставленная на низенький столик, горела рождественскими огнями, кругом ее сидели в креслах и на диванах нарядные куклы и глядели друг на друга эмалевыми, блестящими глазками, над елкою, подвязанный на резиновых нитях, чуть-чуть колыхался толстый восковой ангел с голубоватыми, блестящими крыльями, с золоченой трубой в правой руке, а на самой верхушке елки сияла громадная золотобумажная звезда.

Мир невидимой рождественской тайны, мир сказочный, кукольный и мир действительных человеческих страданий

слился в одно.

– Оставь меня, папа, оставь! – вдруг прохрипела Муся. – Нюта! Нюта! – И, вся изогнувшись, посинев, Муся, подхваченная умелыми руками бонны, залилась хриплым «лаем» коклюша.

Барон, весь бледный, вытянувшись, стоял у кровати; каждый удар кашля эхом отзывался в его груди.

Впервые он физически почувствовал свою связь с этим ребенком. Страдающая Муся была часть его самого, его тела, его крови; грудь его дышала часто и глубоко, как бы желая помочь задышавшейся детской грудке. Он поводил шеей и с усилием глотал слюну, точно его самого душила мокрота, kloкотавшая в сдавленном горлышке Муси.

## VI

Баронесса вернулась домой в беззаботно-птичьем настроении. Горничная Вера встретила ее внизу у лестницы и, взяв из ее рук веер и букет, почтительно последовала за нею в прихожую и заперла дверь.

Сбросив на руки подросшего лакея соболий плащ, баронесса сделала шаг в коридор и остановилась, подняв с раздражением брови. В первый раз, несмотря на дальнейшее расстояние, до нее долетел отрывистый, то хриплый, то звонкий, как крик, кашель ребенка.

Зоя Владимировна строго посмотрела на Веру.



– В детской, вероятно, отворена дверь? – И, предупреждая движение горничной, она сама прошла в коридор до его поворота; оттуда до нее еще яснее долетел коклюшный свист и хрип; дверь в nursery действительно осталась открытой за бароном, и вырывавшийся из нее столп света ложился теплым пятном на пол коридора и противоположную стену.

Прищурив свои холодные глаза, баронесса, едва сдерживая свой гнев на бонну, двинулась дальше и... остановилась на пороге детской. На руках бонны лежало почти бездыханное тело малютки Муси; у кровати стоял барон, смятый, растрепанный, бледный, и самым «мещанским» образом совал себе в рот носовой платок, чтобы удержаться от слез и рыданий, которые душили его, а на низеньком столе стояла ярко освещенная елка, и над нею горела громадная рождественская звезда.

Инстинктивно, испуганная внезапным молчанием ребенка и слезами барона, Зоя Владимировна подошла к бонне и взглянула на посиневшее, мертво-бледное лицо ребенка. Сердце ее вдруг сжалось.

– Что с Мусей? Она жива?

– Господь с вами, баронесса, ей лучше; разве такие были прежде приступы, – тихо отвечала ей бонна.

– Дайте мне ее, – вдруг прошептала баронесса, протягивая к ней руки.

– Баронесса!

– Говорят вам, дайте!

Бонна осторожно переложила ребенка на две ручки, охваченные драгоценными браслетами и затянутые в перчатки.

Зоя Владимировна чуть не ахнула: тело ребенка до того было легко, что переданный ей сверток батиста и кружев показался ей пустым. Мало-помалу измученная грудка ребенка стала дышать ровнее, смоченные слезами муки длинные золотистые ресницы дрогнули и приподнялись, под ними блеснули, полные еще влаги, синие глазки, еще минута, сознание осветило личико Муси, розовость разлилась по нему, разомкнулись бледные губки, и она прошептала: «Мама, точно ангел».

Через полчаса Муся лежала в своей кроватке и снова тихо, весело ворковала, как пригретый солнцем голубенок. На полу, у кроватки, утопая вся в блестящих белых волнах газа и кружев, сидела баронесса, локончики на ее лбу распустились и некрасивыми прядями лежали во все стороны.

Брильянтовый полумесяц, подмигивая своими огнями, нырнул за прозрачные облака спутанных волос. Белая страусовая эгретка, как «отданное» знамя, трепалась у самого уха. Лицо баронессы без пудры покраснелось, взгляд серых, светлых глаз потеплел, и она «мещански» звонко смеялась, глядя на мужа, у которого вся грудь рубашки представляла собой одни ухабы и рытвины, усы, забывшие всякую дисциплину щипцов и фиксажуара, держали себя «вольно»: один – наверх, другой – вниз. Покрасневшие от слез глаза барона весело шурились в то время, как он с самым серьезным ви-

дом нажимал пуговку у большого картонного льва, который ревел и встряхивал гривой.

## VII

Одна за другою догорают рождественские свечи на Мусиной елке. Звезда таинственно мерцает на верхушке дерева. Утомленный счастьем ребенок засыпает тихо, с улыбкой, не успевшей сбежать с бледных губок. Барон Нико Бругин и баронесса Зоя Владимировна сидят еще на полу, не смея встать из страха потревожить первый легкий сон ребенка. Они глядят друг на друга, и при трепетном свете рождественских огней впервые видят себя людьми, без прикрас, без обмана изящного костюма, без лжи, условных поз и улыбок. Они простые муж и жена, они жалкие отец и мать, так как ни титул их, ни богатство не могут избавить их ребенка от страдания и смерти. Восковой толстый херувим с голубоватыми крыльями и с золоченой трубой в правой руке, не переставший колыхаться на резиновых нитях, теряет в их глазах, очищенных слезами страдания, свой сентиментально-комический вид и напоминает им тех ангелов, которые на день Рождества Христова возвестили земле «мир и в человецех благоволение». Тихонько, едва дыша, встает с пола баронесса, встает и барон, оба на цыпочках идут к двери, на пороге обертываясь еще раз, чтобы взглянуть на тихо спящую малютку. Инстинктивно, как бы ища опоры, баронесса протя-

гивает руку мужу, барон обнимает ее, прижимает ее к своей груди, и оба, глядя на воскового херувима, шепчут: «Бог милостив – Муся поправится».

Нюта со своей доброй улыбкой прибирает тихонько nursery. Маленькой щеткой она подметает с пола осыпавшиеся иглы елки, разноцветные бумажки от «щелкушек» и с ними в одну кучу попадает и выпавший из перчатки баронессы адрес манежа: «Совместный курс езды на велосипедах для дам и мужчин».

Муся спит, и в окно с неба, как символ примирения и прощения, смотрит яркая рождественская звезда.

1893

**П. В. Засодимский**  
**В метель и вьюгу**  
*(Святочный рассказ)*



**I**

День 25 декабря был сумрачный. Над городом низко нависли серые облака; шел снег. Смеркалось раньше обычно-

венного; в три часа в домах зажгли огни. В сумерки весь город уже казался занесенным снегом. Все было в снегу: мостовые, крыши, заборы, деревья в садах... На улицах не видно было ни души. Только по красноватым огонькам, мерцавшим в окнах, можно было догадываться, что в этом белом, снегом занесенном городе жили-были люди.

Вечером разыгралась метель. Снег крупными хлопьями повалил с затянутого тучами неба. Холодный северо-восточный ветер бушевал... Как бешеный, как лютый зверь, с цепи спущенный, носился он по городским улицам и площадям, рвал и метал, дико завывая в трубах, и с ревом и стоном уносился за город – в поля, в леса, вздымая облака снежной пыли. Под напорами ветра деревья гнулись и скрипели жалобно. Флюгера на крышах как будто совсем растерялись и в недоумении, с визгом, вертелись туда и сюда, точь-в-точь как люди, застигнутые внезапно налетевшей бедой.

– Вот так погоду Бог дал для праздника! Свету Божьего не видать, – говорили они, сидя в теплых комнатах и посматривая в окна.

– Да! Хорошо теперь тому, кто под крышей, – замечали другие, с великим удовольствием думая о том, что им самим тепло и хорошо и никуда им не надо идти в такую снежную бурю.

На улицах по-прежнему было не видать ни проезжего, ни прохожего.

– Господи, спаси и помилуй, ежели теперь кто-нибудь в

дороге, в степи! – со вздохом говорили сидевшие в тепле.

– В такую погоду добрый хозяин собаку на двор не выгонит, – рассуждали жалостливые люди.

Действительно, даже собак было не видно и не слышно. Все они попрятались в сени, в сараи, забрались на вышки... Правду говорили добрые люди: свету Божьего было не видеть, и хозяин собаку на двор выгонял... но человек выгнал человека из дома, даже в такую непогоду!..

На конце пустынной, широкой улицы в снежном вихре вдруг показалась какая-то девочка. Она тихо, с трудом брела по сугробам. Она была мала, худа, бедно одета. На ней было серое пальтишко с узкими, короткими рукавами, а на голове платок, какая-то рвань, вроде грязной тряпки. Платок прикрывал ей лоб, щеки, подбородок; из-под платка только блестели темные глаза да виден был кончик носа, покрасневший от холода. На ногах ее были большие черные валенки, и они, видимо, ей приходились не по ноге. Она медленно подвигалась вперед; валенки хлябали и мешали ей идти... Левой рукой она поминутно запахивала раздувавшиеся полы своего серого пальтишка, кулак же правой руки она крепко сжимала и держала у груди.

А снег все шел и шел, и вьюга бушевала. Ветер с яростью налетал на девочку, обдувая всю ее холодом и снегом. Он бесновался и крутился вокруг этой малютки, словно желая подхватить ее с земли, закружить в снежном вихре, вместе с ее черными валенками, и невесть куда умчатъ на своих хо-

лодных крыльях. А девочка все брела, пошатываясь и спотыкаясь...

Вдруг ветер с такой силой ударил ее, что девочка невольно протянула руки вперед, чтобы не упасть, и кулак ее правой руки разжался на мгновение. Девочка остановилась и, наклонившись, начала что-то искать у себя под ногами. Наконец, она опустилась на колени и своими худенькими поси-невшими ручонками стала шарить по сугробу. Через минуту пушистый снег уже покрывал ей голову, плечи и грудь, и девочка стала похожа на снежную статую с живым человеческим лицом. Она долго искала чего-то, долго рылась в снегу...

– Господи! Что же мне теперь делать? – растерянno прошептала она.

Глаза ее были полны слез и смотрели жалобно... Она подняла голову и взглянула вверх... Белые хлопья падали и падали на нее с темного мглистого неба.

– Как же я теперь?.. – шептала девочка, беспомощно оглядываясь по сторонам.

Сквозь метель и вьюгу в окнах были видны брезжащие огоньки... «Счастливые! – подумала девочка. – Хорошо им теперь под крышей, в тепле, у огонька». Слезы катились по ее щекам и застывали на ресницах. Девочка вся дрожала от холода, от пронизывающего ветра. Она опять стала смотреть вверх. А вверху – все то же... Ночное небо – темно и мглисто.

Девочка уже не пыталась идти и, закрыв глаза, только тя-



жело вздыхала. Шум и завывание ветра уже смутно доносились до нее. Ее начинало клонить ко сну... Она чувствовала, что замерзает, собрала последние силы и приподнялась.

– Эй! Помогите!.. Добренькие... – с отчаянием, дрогнувшим голосом крикнула она сквозь слезы, но звуки едва успевали слетать с ее губ, как ветер подхватывал их, рвал и заглушал, разнося на все четыре стороны.

Ни души живой не было вокруг; никто не слышал ее слезного призыва.

Девочка снова опустилась на снег. Еще несколько минут – и она заснет беспробудным, смертным сном...

А снег все шел и шел – и заносил несчастную малютку.

## II

В это время с противоположного конца пустынной улицы шел какой-то высокий, рослый человек с палкой в руке, одетый не очень красиво, но зато тепло. Ветер из всей мочи бесновался над ним, выюга слепила ему глаза, но он твердой поступью шел вперед, опираясь на палку; видно, человек был здоровый, сильный и крепкий на ногах.

– Дуй, дуй, – весело говорил он налетевшему на него ветру, сыпавшему ему снегом прямо в лицо. – Дуй!.. Небось, не сдунешь! Ведь наш брат, рабочий, тяжел на подъем... Видали мы и не такие метели, да...

И вдруг он остановился, прервав на полуслове свой раз-

говор с метелью. С изумлением увидел он перед собою полужанесенное снегом живое человеческое существо.

– Кто тут? – спросил он, наклоняясь.

– Это я! – слышался слабый детский голосок.

– Гм! Что же ты тут делаешь? – спрашивал рабочий.

– Денежку ищу...

Девочка, стоя на коленях, вся в снегу, смотрела, как спр-сонок, на стоявшего перед нею великана.

– Какую денежку? – переспросил тот.

– Денежку – трешник!.. – вяло, как со сна, бормотала девочка, еле ворочая языком. – Хозяйка послала за свечкой... в лавку... дала два трешника... а я выронила!.. Один трешник – вот, а другого не нашла...

Девочка разжала кулак и показала на ладони темную медную монетку.

– Отчего же домой не идешь? – сказал рабочий.

– Боюсь!.. Хозяйка опять станет бить... – пролепетала малютка.

– Ну, будет толковать! Тут и я с тобой, пожалуй, замерзну... Вставай-ка! Живо! Пойдем ко мне! – заговорил великан, поднимая девочку на ноги и отряхивая с нее снег. – Идти-то можешь? – спросил он, посмотрев на нее.

– Ноги не слушаются... – отвечала девочка, пошатываясь.

– Эх, девка, девка!.. Ну, да ладно, как-нибудь до дому доберемся! – сказал рабочий и поднял ее, как перышко.

И пошел он, одной рукой крепко прижимая ее к груди,

чтобы ей было теплее, а другой опираясь на палку. Ветер с бешенством обрушился на него, словно злясь за то, что у него отняли добычу. Он налетал на рабочего то справа, то слева, то хлестал в спину снежным вихрем, то ударял в лицо и заслеплял глаза.

– Тьфу ты, провал тебя возьми! – не выдержал рабочий, шатнувшись в сторону со своей маленькой живой ношей. – Ведь с ног же, однако, не сшибешь. Шалишь, брат!..

Девочка широко раскрыла глаза и прислушалась.

– Вишь, сегодня сердит больно, разбушевался на беду, – ворчал рабочий. – Не нашел другого-то дня! В самое Рождество этакую кутерьму затеял. Да добро! Нашего брата не проберешь... Мы и в жару не горим, и в стуже не мерзнем...

– Ты, дяденька, с кем же разговариваешь? – спросила девочка, высовывая из-под рваного платка кончик своего красного носа.

– С Ветром Ветровичем говорю! – отвечал великан. – Не все же ему одному зверем реветь, надо и человеческому голосу свою речь повести...

Миновали они широкую пустынную улицу, прошли один переулок, завернули в другой и вскоре очутились на берегу речки, почти за городом. Тут рабочий вдруг заметил, что к нему пристала какая-то рыжая, жалкая, лохматая собачонка. Она шла за ним, запорошенная снегом, вся как-то сгорбившись, поджав хвост и низко понутив голову. Так ходят люди, забитые бедностью и горем... Собака шла за человеком,

и человек не отгонял ее.

На берегу стояло несколько хат, теперь почти совсем занесенных снегом. В одну из этих хат вошел рабочий, – рыжая, всклобоченная собачонка шмыгнула за ним. Под конец дороги девочка дремала, и теперь, вдруг очутившись в тепле, она с изумлением раскрыла глаза и увидела себя в чистенькой, светлой комнате. На белом деревянном столе горела железная керосиновая лампа. Новые бревенчатые стены были не оклеены и пахли еще сосновой смолой. Лавки и две-три желтых стула стояли в комнате. На стене висели календарь, небольшие часы и какая-то дешевенькая раскрашенная картинка, а в переднем углу – образ. Маленькая дверь вела за перегородку в кухню. В кухне стояла большая русская печь и одной стеной выходила в комнату, и тут несколько приступочков вели на печь. Кухня оставалась впотьмах; свет из комнаты смутно проникал в нее через дверь и поверх перегородки, на четверть аршина не доходившей до пола. Рабочий спустил девочку с рук, снял с нее платок и пальто.

– А теперь садись, вон, на приступочек у печки и разувайся! – командовал он. – Валенки-то, поди, мокрехонькие...

Девочка села и лишь только шевельнула ножонками, как валенки моментально сползли на пол. Хозяин сходил на кухню и принес оттуда рюмку. В рюмку было налито немного водки.

– Пей! – сказал он, подавая девочке рюмку.

Та выпила и поморщилась.

– Горько небось? – спросил хозяин.

– Горько, дяденька, страсть! – отозвалась девочка.

– Ничего! Горько, да с морозу полезно! – заметил великан, наливая и себе водки. – Будь здорова! – сказал он, кивнув девочке головой и осушая рюмку.

– Кушай на здоровье! – степенно промолвила гостья.

Теперь она сидела на приступочке, сложа руки, и пристально, не сводя глаз, смотрела на хозяина. Это был дюжий, широкоплечий мужчина, головой выше обыкновенного высокого роста. Пол дрожал под ним, когда он проходил по комнате.

«Вот такого и Ветер Ветрович не свалит с ног, – подумала девочка и мысленно же добавила: – И хозяйкину братцу не тягаться с ним!...»

Лицо этого великана было чрезвычайно добродушное; по его голубым глазам и по светлой улыбке можно было догадаться, что в этом большом, мощном тела жила чистая, детская душа... Его белокурые короткие волосы вились кудрями и падали на лоб; густая борода его свешивалась на грудь. Ему, казалось, было лет под 40. Теперь он был в праздничной серой блузе, подпоясанной красным поясом, и в длинных сапогах.

Поставив рюмку в шкаф, он подошел к девочке и, упершись в бока своими громадными кулачищами, с веселой улыбкой посмотрел на нее... Девочка была в ситцевом полинявшем платице с розовыми цветочками. Ноги были босы.

Ее темные волосы, мягкие как шелк, без всякой прически падали ей на глаза. Ее большие карие глаза, оттененные густыми и длинными ресницами, смотрели теперь совершенно спокойно, беззаботно, как будто не над нею несколько минут тому назад бушевала выюга-непогода и не она была на шаг от смерти.

– Встань-ка да походи, а еще лучше, побегай!.. – сказал ей хозяин. – Согреешься отлично... Бежи! Я догонять тебя стану...

Девочка вскочила и побежала по комнате. Конечно, великану трудно было бы не догнать ее: не сходя с места, только протянув руку, он мог всюду ее достать. Он сделал вид, что бежит, гонится за нею, а сам, вместо того, топтался на месте и топтался так ужасно, что в комнате и в кухне все ходило ходуном.

– Ну, что? Ноги согрелись? Вот и ладно!.. – сказал хозяин. – Садись же опять на свой приступочек, у печки-то тепленько...

Он вытащил из кармана маленькую коротенькую трубочку, набил ее и закурил.

– А теперь, девчурка, мы станем с тобой разговаривать! – промолвил он, садясь перед нею на скамью и потягивая свою трубочку-носогрейку.

За стенами хаты метелица мела, выюга бушевала. В хате было тихо, тепло и светло. Временами было слышно, как за печкой сверчок трещал.

Рыжая косматая собачонка смиренно свернулась у порога и, подремывая, одним глазом посматривала порой на собеседников.

### III

Девочка уже совсем согрелась, ожила. На щеках ее яркий румянец горел, глаза блестели... Теперь, несмотря на свои распущенные волосы, на босые ножонки и на полинявшее платье, она оказалась очень хорошенькой девочкой... Откинув назад свои растрепавшиеся волосы, она приготовилась со вниманием слушать «дяденьку».

Великан выпустил из-под усов седой клуб табачного дыма и начал:

- Прежде всего, моя красавица, как тебя зовут?
- Зовут Машей! – бойко ответила девочка.
- А меня – Иваном!.. Вот и будем мы «Иван-да-Марья»... Скажи же мне, Маша, теперь: где ты живешь?
- Живу в людях...
- У чужих людей, значит?
- Да. У Аграфены Матвеевны... Знаешь?.. У нее дом в Собащем переулке! – пояснила девочка.
- Собачий переулок знаю очень хорошо, а Аграфену Матвеевну не знаю... Но где же твой отец и мать?
- Умерли. Отца я совсем не знала, а маму чуть-чуть помню...

– Как же ты очутилась у чужих людей? Почему они тебя взяли к себе? – спрашивал хозяин.

– Не знаю! – отвечала Маша.

– С каких же пор, давно ли ты живешь в людях?

– Не помню!

– Гм! Вот так штука!.. – проговорил великан, смотря на свою гостью и в недоумении почесывая затылок. – Ну, кроме хозяйки, кто же еще жил с тобой?

– А жил еще хозяйкин муж и ее брат.

– Что ж, тебе плохо было у них?

– Хозяин-то ничего, смирный такой, тихий... Ни одной колотушки я не видала от него... – рассказывала девочка. – А сама хозяйка... ну, рука у нее тяжелая! Повесила она на стене, над моей постелью, ремень – и этим ремнем все била меня... А уж особенно хозяйкин брат... и-и-и, беда! Коло-тил меня – страсть! Вот и вчера еще он все руки мне исщипал... вон, видишь как!

Девочка засучила рукав, и действительно, повыше локтя, на белой коже были явственно видны сине-багровые пятна.

– Господи, Боже Ты мой! И поднимается рука на малого ребенка! – сказал великан как бы про себя. – Гм! Уродятся же такие люди... Диво!

Он удивлялся, потому что сам никогда не мог поднять руки на ребенка. Сильные люди обыкновенно бывают смирны и не драчливы.

– Ты жила у них в работницах, что ли? – спросил хозяин,



немного погода.

– Да, в работницах!

– Что же ты работала?

– Да все, – говорила девочка. – За водой ходила, в горнице убирала, шила, вязала, в лавочку бегала, туда и сюда... Летом работала в огороде, поливала, полола.

– Так ты умеешь шить и вязать? – спросил хозяин.

– Умею... Да что ж за мудрость! – серьезным тоном промолвила Маша, разглаживая на коленях платье.

– Ох ты, работница-горе! – сказал великан, с грустной улыбкой посмотрев на девочку.

– А что ж такое? – отозвалась та. – Я только кажусь такая маленькая, а лет-то мне уж много...

– А как много?

– Семь лет, восьмой пошел.

– И вправду много!.. – с усмешкой промолвил великан. – Ну, теперь слушай!..

Девочка уселась поудобнее и, притаив дыхание, собралась слушать «дяденьку», вообразив, кажется, что он долго станет о чем-то говорить ей.

– Оставайся у меня! Будем жить вместе... Вот и весь сказ! – проговорил великан, стукнув трубкой по колену.

Он быстро решался и быстро задуманное им приводил в исполнение. «Эта девочка – сирота, родных у нее никого нет, – рассуждал он, – значит, я имею такое же право, как хозяйка ее, Аграфена Матвеевна, взять к себе девочку. И я

возьму ее, потому что у Аграфены Матвеевны ей жить худо, а у меня ей будет хорошо». И великан, в знак решимости, еще раз стукнул трубкой по колену.

– Видишь... – продолжал он, – был у меня братишка немного поменьше тебя... Он помер! А ты вместо него оставайся у меня и зови меня братом! Слышишь?.. Ну! Остаешься у меня?

Девочка с изумлением смотрела на него.

– А как же хозяйка? – возразила она. – Ведь она меня за свечкой послала...

– Ну, свечку она сама себе купит! – сказал рабочий. – А два ее трешника я завтра отнесу ей.

«Если за прокорм девочки запросит денег, дам ей денег... Немного деньжонок-то у меня есть!» – подумал он.

– А есть у тебя какое-нибудь имение – платья, тряпки там, что ли?

– Ничего, братец, у меня нет! – отвечала Маша. – Есть две старые рубашки, да и те уж совсем развалились.

– Тем лучше, девчурка, – промолвил хозяин. – Это дело, значит, мы живо покончим. А если твоя Аграфена Матвеевна заартачится, так мы синяки покажем. А теперь, Маша, давай-ка ужинать!

Он вынул из печи теплых щей горшок, кусок баранины с гречневой кашей и пирог с яйцами. Девочка с удовольствием ела и щи, и баранину, и вкусный пшеничный пирог. Рыжая собачонка той порой также подошла к столу и с живейшим

интересом смотрела на Машу и хозяина.

– Как тебя звать? – обратился к ней хозяин.

Собака взглянула на него, хотела как будто встать, но вместо того только несколько раз хлопнула хвостом по полу.

– Гм! Сказать-то не можешь! Экое горе!.. А все-таки как-нибудь звать тебя надо, – говорил хозяин. – Ну, будь ты с сегодняшнего дня «Каштанкой»! Каштанка! – крикнул он.

Собака сорвалась с места и подбежала к нему.

– Ну, вот и отлично! Будем жить втроем, как-нибудь промаячим. А ты, Каштанка, береги без меня мою сестрицу, хорошенько сторожи ее! Слышишь?

Девочка весело засмеялась. Собака, посматривая на хозяйина, самым решительным образом помахивала хвостом. Хозяин накрошил в кринку хлеба, облил его молоком и дал Каштанке. В комнате несколько минут только и слышно было на крынкой: «хлеп-хлеп-хлеп»... Поужинав, Маша сказала братцу «спасибо» и опять села на приступочек у печки: она уже привыкла к этому местечку, оно нравилось ей.

# Н. П. Вагнер

## Телепень



### I

В старое время жили-были в землях оренбургских помещик и помещица: Ипат Исаич и Марфа Парфеновна Туготыпкины.

У Ипата Исаича было трое крепостных: мужик Гавлий, кучер Мамонт и лакей Гаврюшка. У Марфы Парфеновны была одна крепостная душа, кухарка Эпихария, или просто Эпихашка. Было у них прежде у каждого по двадцати душ, но эти души оттягал у них вместе с землицей сосед их, богатый помещик Иван Иванович Травников.

Прежде, еще не так давно, Туготыпкин и Травников жили душа в душу, были друзьями-соседями, да поссорились, и вот из-за чего.

Вся беда началась из-за барана. У Ипата Исаича было голов сорок овец, и овцы были наполовину русские, наполовину киргизские, с курдюками. И в особенности вышел на диво у него один баран – чернохвостый, морда губастая, рога в два заворота, шерсть косматая, кудря – до шкуры не доберешься.

А на ту беду как раз Иван Иваныч добыл курдюковых овец. Пристал он к Ипату Исаичу:

– Друг сердечный! Ипатушка! Продай барашка мне.

– Друг любезный, Иванушка-свет, подарил бы тебе, да самому мне надобен баран. Погоди: осень придет, подарю я барашка тебе, какого душа изволит.

Но был Иван Иванович с гонором и с норовом. На соседушку смотрел свысока. «Я, мол-ста, чуть не бригадир, а ты, мол-ста, кто такое?.. Голопух! – Тебе для такого друга и барана жаль отдать. Подавись, мол, им. Щучья душа!»

– Нет, говорит, коли теперь барана не продашь, так мне

и не надо-ти. – Замолк и пожевал губами, а это уж самый дурной знак был у него. Если он губами пожует, то, значит, он крепко в обиду вошел.

Был Иван Иванович вдовец. Жену любил крепко и схоронил молодую. Оставила она ему девочку лет пяти, и этой девочкой он жил и дышал, но и она через два года померла. Остался Иван Иваныч бобылем круглым и с горя сделался сутягой и кляузником. Тяжб у него была гибель, со всеми соседями – и ближними, и дальними. И разоренье от этих тяжб всем было немалое.

У Ипата Исаича и Марфы Парфеновны детки не жили. Только одна и выжила дочка Нюша. Шестой годок ей шел. Живая, бойкая, Юла Ипатовна – утешение старичкам на старости. Кроме крепостных душ жила у них и вольная душа, только башкирская. Надо сказать, что земля Ипат Исаича к башкирским землям подошла. И башкиры частенько к батъке Пат-Саичу приходили в своих нуждах жалиться.

Один раз, в морозный, крещенский вечер: стук! стук! стук! в оконце. Отворила оконце с молитвой Эпихария:

– Кто, мол, тут такой?

Вошли два башкира. Совсем обмерзли. Малахаи заиндевели. Армяки закуржевели. Старший Бахрай привел брата своего Тюляй-Тюльпеня.

Повалился в ноги Бахрай и брат туда же за ним.

– Сделай милость! – плачется слезно. – Добра чиловек! Пат-Саич! возьми брат мой. Совсем возьми... в батрак возь-

ми... Землю нет... Верблюда нет... Ашать нечего... Юрта нет... Баран нет... Жена нет... девать куда нет... Сделай милость бери... Пожалиста, бери!.. – И плачет Бахрай – разливается.

Посмотрел Ипат Исаич на Тюляй-Тюльпентя и видит – он башкир здоровенный, в плечах косая сажень.

«Куда, мол, я его дену?»

А Марфа Парфеновна шепчет ему:

– Возьми, авось не объест. Все при доме лишний человек будет...

– А что ты умеешь? – допрашивает Ипат Исаич.

– Все умеешь... Кумыс делать умеешь... Шашлык стряпать умеешь.

– А пахать умеешь? – спрашивает Тюляй-Тюльпентя.

– Лядна! Лядна!.. ашать умеешь...

– Коней пасти умеешь?

– Лядна! лядна. Коней ашать умеешь...

– Рубить дрова умеешь?

– Лядна! лядна!.. дрова курить умеешь.

– Ну! лядна!.. – говорит Ипат Исаич. – Поживешь, посмотрим. Авось что-нибудь и увидим. Оставайся, батрак будешь.

И остался Тюляй-Тюльпень. Только сперва Эпихашка, затем Гавлий, кучер Мамон и лакей Гаврюшка, и все называли его просто Телепнем. «Так, говорят, складней, да короче будет!» И стал жить Телепень у Ипата Исаича.

## II

Сперва, как взяли Телепня, так Эпихашка принялась было его обрабатывать. Поднимет его ни свет, ни заря и заставит печку топить, и Телепень добросовестно натолкает дров, так что всю печку до верху битком набьет. Просто крысе повернуться негде. Придет Эпихашка, всплеснет руками. Давай ругать Телепня на чем свет стоит.

А он слушает, ухмыляется, головой кивает и только приговаривает:

– Лядна! Лядна!

Раз он Эпихашку совсем огорчил.

После обеда, на Масляной, вздумала она попраздничать, а Телепня заставила посуду убирать. Принялся он, как всегда, с усердием, так что все чашки, горшки, ложки и плошки и пищат, и трещат.

Отлучилась Эпихашка за малым делом на полминутки. Прибежала, заглянула, руками всплеснула, ахнула.

Расставил Телепень все чашки, тарелки чинно рядком на полу, а Кидай и Ругай – два пса здоровенных, волкодавы – все это взапуски лижут; а Телепень смотрит, руки в боки, и любитесь.

– Батюшки мои! Что ты делаешь, окаянный!

– Не замай!.. Лядна... Она лишет... чисто трет... А-яй! Больно хороша будет...



Завыла Эпихашка, побежала к Марфе Парфеновне, в ножки кинулась.

– Матушка барыня!.. Всю посуду нехристь опоганил... Всю псам дал вылизывать.

И пошел дым коромыслом. Накинулись все на Телепня: зачем посуду перепортил?!

А чем Телепень виноват?

– У нас, говорит, добра чиловек... всегда так живет... собакам даем... собака его лижет... языком трет... А-яй чиста бывает!..

Вот и толкуй с ним.

И сколько было с ним проказ, что и в год не расскажешь. Один только мужик Гавлий стоял за Телепня горой, из уважения к силище его необычайной, да из-за любви его к коням.

– Ты, – говорит Гавлий, – животину уважь! Она тебе больше, чем человек, надо будет. – А Телепень любил «животину». С лошадьми и спал в хлевушке. Встанет чем свет. Уж он чистит, чистит, так что несчастную лошадь точно ветром качает, до десятого поту прошибет. И в особенности любимый конь у Телепня был Гнедко. С Гнедком он постоянно беседовал по-башкирски, иной раз даже до слез договорится. Говорит, говорит и расплается. А не то, так песню ему башкирскую споет. Уж он тянет, тянет, – так жалобно, что даже мужик Гавлий слушает, слушает и, наконец, плюнет с досады.

– Ишь, поди ты! – скажет, – ажно нутро все вынудил!..

В первую весну, как стал жить Телепень у Ипата Исаича, то послали его в поле пар пахать на Гнедке.

Показал Гавлий, как надо пахать, и ушел. Приходит через час и диву дался. Телепень на поручни у сохи доску приладил, вожжами укрепил и навалил он на эту доску камней пудов пять, впрягся сам в соху и пашет, а Гнедко под кустиком привязан стоит, травку жует. Захохотал мужик Гавлий, руками всплеснул:

– Ах ты, дурень, дурень! Что ты творишь?!

А дурень весь как есть взмок, и пот у него с бритой головы в три ручья льет.

– Я, добри чиловек, мала-мала пахал... Добри чиловек... Гнедко пушай отдохнет... а я за него пахал... Добри чиловек!

Хохотал, хохотал мужик Гавлий.

– Ну! – говорит, – башкирское чучело. Давай вместе пахать. Ведь ты все равно, что скот. А?

И начал Гавлий пахать на Телепне, сбросил камни, взялся за поручни.

– Ну! ну! пошла, башкирска чучела!

И пошел Телепень пахать. Пахали, пахали, до полдень чуть не полдесятины вспахали. Вот так «башкирское чучело»!

И с этих самых пор Телепень каждую весну и лето вперемежку с Гнедком, вместе с Гавлием и пахал, и орал, и боро-

нил поля Ипата Исаича.

Сам барин и барыня и все соседи ближние и дальние приходили и приезжали, ахали и дивовались, как мужик Гавлий на «башкирском чучеле» землю пашет.

Один раз, осенью, заставили Телепня навоз убирать, на поле вывозить. Он не только навоз весь счистил, но и землю под ним до самого сухого места всю выскреб и все на поле свозил. Приходит Эпихашка: где коровы? где барашки? чуть из земли видны. Глядь! Они в яме стоят. Во всю длину сарая Телепень вырыл под ними громадную яму.

– Ах ты, дурень, дурень! – накинулась на него Эпихашка. – Хоть бы догадался, дурень, нам к избе навозу навозить. Стены бы прикрыл. Все зимой, чай, теплей бы было... А он, глякось, и навоз, и землю, все на поле стащил.

– Лядна! – говорит Телепень.

Просыпается на другой день Эпихашка.

– Что это, батюшки, на кухне-то как темно!.. Петухи давным-давно пропели, а свету нет как нет.

Вышла на двор и руками всплеснула.

Телепень всю избу и окна навозом закрыл. Целых два воза на себе с поля притащил и укутал всю избу.

– Ах ты, бритая башка! Как же мы будем жить-то целую зиму впотьмах.

– Зачем впотьмах... нет впотьмах... Ти, душа моя... лючина жги... светле будет.

– Тьфу! окаянный.

И заставила Эпихашка Телепня навоз очищать, окна мыть. Только с первого же раза, как принялся он мыть окна с усердием, так два стекла чистехонько высадил.

### III

Когда Иван Иванович и Ипат Исаич были еще друзья, то Иван Иванович нередко потешался над силой Телепня.

– Ну! Телепень, разогни подкову.

– Лядна.

И сейчас притащит подкову. Телепень возьмется за нее обеими ручищами, и подкова затрещит и хрястнет пополам.

Притащат другую подкову. Телепень возьмет ее в лапу, так что и подковы самой почти не видно, нажмет, и подкова хрустнет.

– Эка силища! – дивятся все.

В прежнее время, когда дружно жили друзья, то почитай каждый вечер или Иван Иваныч сидит у Ипата Исаича, или он у Ивана Иваныча. Праздники непременно вместе. Рождество, Новый год, Пасху всенепременно Иван Иваныч встречал и провожал у Туготыпкиных. Иногда и ночует и живет по целым неделям. И, действительно, что ему было делать дома одному? Одурь возьмет. Походит, походит по залам, по-свистит, и в восьмом часу вечера, вместе с птицами, заляжет спать.

У Ипата Исаича для Ивана Иваныча была даже особая го-

ренка, угловая, с большим окном прямо в сад. А сад был большой у Ипата Исаича. В нем и яблони, и груши, и большие клены татарские, и липы древние шатрами раскинулись. И за всем за этим вдали видны ковыльные степи башкирские.

Но больше всего привлекала Ивана Иваныча в семью к Ипат Исаичу пятилетняя Анюша. Напоминала она ему его собственную Анюшу, а с ней и семью и все, что потерял человек. Тихо, пусто, мрачно стало все в душе Ивана Иваныча после смерти его девочки, точно в темном гробу у бобыля-покойника. И если бы другое время случилась такая оказия, что Ипат Исаич обидел отказом в подарке, на который друг закадышный напрашивался, то все бы обошлось смехом да шуткой – а тут, на-поди, и разошлось, и расстроилось.

Как началось дело, как получил Ипат Исаич первый вызов от уездного бузулукского суда, так он глазам не верил, а с Марфой Парфеновной чуть даже удар не сделался. Съездил Ипат Исаич в Бузулук и узнал, что почти вся его вотчина к соседу отошла, «так, мол, суд решил; можете, мол, подавать на апелляцию».

Пробовал Ипат Исаич и на апелляцию подавать и даже сам в Оренбург съездил, но ничего у него не вышло.

Тяжелое было это время для Ипата Исаича. И похудел, и поседел он, и даже думал Телепня на все четыре стороны отпустить, но Марфа Парфеновна упростила.

– Оставь, Ипаша, что в самом деле, есть еще кусок хлеба,

с голоду не помрем, а парню деваться некуда.

Пережил этот лихой год Ипат Исаич с семьей и потихоньку помирился с своей участью.

## IV

Прошел после этого еще год. Ипат Исаич и вся семья и все домашние совсем вошли в колею новой жизни и всю беду забыли.

– Мама! – спрашивает иногда Нюша. – А когда к нам опять приедет дядя Иваша?

– Никогда, Нюша, не приедет, никогда, моя ясочка бисерная. Дядя Иваша злой. Он у нас всю землю оттягал. Никогда он не приедет.

– Нет! он добрый, и надо ему только сказать, мамочка. И я ему скажу. И он всю землю нам опять отдаст.

– Да! Как бы не отдал, держи карман!

– Отдаст!

– Не отдаст, конопляночка!

– Нет! отдаст, мамочик.

И Нюша твердо была уверена, что дядя Иваша отдаст им опять землю. Да и как же было ей не верить в силу своего слова, когда дядя Иваша, в угоду ей, сам, бывало, превращался в дитя малое. Он с ней в куклы играет. Он ее на четвереньках возит. Он ее по всему саду на тележке катает. Бежит на своих длинных ногах, точно журавль, а Ипат Исаич

на балконе стоит – помирает – хохочет.

У Ньюши полон угол игрушек, и все ей дядя Иваша подарил, – кукол нарядных, лошадок всяких, баранов, козлов, медведей, гусей, петухов... чего хочешь, того просишь. Как же ей было не верить, что он и землю назад отдаст? «Он только пошутил, – думает она, – а папа с мамой думают, что он и взаправду отнял».

Рождественским постом вдруг узнает Ипат Исаич из Бузулука, что на него опять иск подан. Был у него один сват и старый приятель в судейском приказе, которому он к каждому большому празднику посылал кур, индюков, гусей и тушу свиную. «Должен известить я вас, сватушка, – писал приятель, – что снова на вас взводят неприятности. Опять ваш злодей на вас поднялся и просьбу подал о том, будто ваша усадьба на его дедовской вотчине выстроена, и планы и свидетелей тому представил. А за куры и индюки и протчую живность низко кланяюсь моему сватушке и милостивой государыне Марфе Парфеновне...»

Не дочитал до конца Ипат Исаич. Кровь у него в голову ударила, потемнело в глазах. Послали в ближнее село к богатому помещику Криленкову за цирульником и кровь метнули. Целый вечер все в доме ахали да вздыхали, даже Ньюша плакала и почти совсем решила, что «дядя Ивашка злой, волк ненасытый!».

А Рождество между тем приближалось. До Христова праздника оставалось всего пять дней.

Приходит Ньюша вечером к Марфе Парфеновне.

– Мамочка! – говорит, – ведь дядя Иваша рассердился за то, что папа ему барана не подарил.

– Кто это тебе сказал?! – допросила Марфа Парфеновна.

– Мне Эпихашка это сказала... Ну! слушай, мамочка... Пусть папа этого барана ему отдаст, а от меня вот ему еще барана. – И она отдала картонного барана без рогов и в лоскутки его обернула.

– Ладно! – говорит Марфа Парфеновна в раздумьи, взяла и положила барана на подоконник, а сама думает: «Разве и взаправду послать ему этого поганого барана, авось, смиловится... Ужели у него, прости Господи, души человеческой нет!...»

Пошла она к Ипату Исаичу. Долго они тихохонько шушукались, что решили – неизвестно, но после этого через два дня принялся Ипат Исаич письмо строчить.

Нашли лоскут синей бумаги. В чернильнице, вместо чернил, мухи оказались: подлили в нее горяченькой водицы, и получился бурый экстрактец. И вот этим экстрактцем Ипат Исаич настрочил письмо к соседушке. Целый день писал – даже голова разболелась, – и написал он следующее:

«Милостивый государь мой, батюшка свет Иван Иванович, на что, государь мой, так немилосердно разгневаться из-



волили, что я вам в те поры барана не продал, находя одного барана себе необходимым.

Уповаем, что вы гнев свой на милость перемените, одного барана к вам с поклоном нижайше кланяемся и от нас с превеликим горем препровождаем. Примите, государь милостивый, и не лишите нас крова родительского, из коего мы на мороз лютый и убожество по грехам нашим изгнаны будем, а впрочем, остаемся, государь мой, вашего здоровья верные служители Ипат Туготыпкин. Месяца Декабря 24 дня. Жена Марфа Парфеновна, посылая вам поклон низкий, молит вас о том же, и младенец, дочь Анна, также вам поклон шлет и от своего младенческого сердца барана игрушечного, коего вы ей пожаловали, с усердием и любовью посылает».

Написал письмо Ипат Исаич как раз в утро, в сочельник. Воском запечатал. Мороз на дворе стоит здоровый. Кого, думает, с письмом послать? А конец не малый – двенадцать верных верст до усадьбы Ивана Ивановича. Думает: если послать мужика Гавлия или кучера Мамонта – все народ православный, хоть верхом пошлешь, а все прежде вечера не вернется, а тут праздник надо встречать. Как будто и грех христианскую душу посылать под великий Христов праздник.

И послали Телепня.

Посадили барана в мешок, а письмо положили за пазуху.

– Тащи баран к Иван... Кланяйся ему, баран отдай, письмо отдай... Понимаешь?!

– Лядна!

Снарядили, проводили, отправили.

Наступает рождественский вечер. Уже смеркаться стало. В большом доме Ивана Ивановича скучища непроходная. Ходит он по залам, на все лады зевает, ко всякой малости придирается. Всех людей своих расшугал. Экономка отправилась в село Троицкое, к заутрене. Один как есть бобыль остался в большом доме.

Ходит он, ходит и все думает: «Погоди же, ты, друг-приятель мой Ипат Исаич! Вот тебя на праздниках, как таракана, из избы на мороз выгонят и садик твой и домишко мне достанется. Не хотел ты, друг любезный, барана мне продать, так и хата твоя и твой баран – все мне пойдет».

И от этой злой радости сердце у него трепещет и всю скуку долой гонит. Отхлынет злая радость, и вспомнит былое Иван Иванович.

Вспомнит он, как Ипат Исаич раз его из полыньи на Каме вытащил, от смерти лютой спас. Вспомнит он, как он за ним и день и ночь ухаживал, от постели не отходил, когда он при смерти и в горячке лежал.

А тут мерещится ему кстати и покойница жена его Люба и дочурочка Нюша и вспомнит он другую Нюшу.

Вздыхнет, глубоко вздохнет Иван Иванович, и все лицо его станет грустным да кротким. Лег спать Иван Иванович, а сон не знай куда ушел. Возился, ворочался с боку на бок, переворачивался и свечку гасил, и опять зажигал, огня вы-

секал. Все не спится и что-то чудится.

И чудится ему, что какая-то птица, не то сова, не то филин, – близко тут, за амбаром так жалобно пищит. Утихнет ненадолго и опять:

– Пи-ю-ю! Пи-ю-ю! Пи-ю-ю-ю!

Что такое за оказия?! Любопытство разобрало Иван Иваныча. Встал он, накинул тулупчик, валенки натянул, подпоясался ремешком и вышел во двор.

Звездная рождественская ночь, точно морозный шатер, раскинулась над спящей землей...

## VI

А в это время у Ипат Исаича в доме не спали. Эпихашка все к празднику приготовила. Кучер Мамонт, Гаврюша и даже мужик Гавлий убрались, принарядились, чистые рубахи понадевали, скромным маслом волосы примазали. Везде перед образами свечки и лампадки зажгли и ждут не дождутся, когда на старинных часах Ипат Исаича стрелки полночь укажут.

А Ипат Исаич и Марфа Парфеновна не с радостью, а со страхом душевным ждут праздничка. Висит над их головами беда неминуемая, и оба ждут не дождутся, что им принесет Телепень: горе или радость?

И Гавлий, и Мамонт, и Эпихашка то и дело выбегают за ворота: идет или нейдет «башкирско чучело»?

– Как же, дождешься его! – говорит Мамонт. – Давно к своим башкирам сбежал и барана стащил.

Но напрасно так они думают.

Только вошли они в избу, как немного погода: скрип, скрип, скрип под оконцами. Выскочили, бегут: что такое?

Тащит Телепень скорехонько, тащит большой мешок.

– Чего такое приволок?!

– Батюшки! Никак ему киргизских овец надавали!

– И то, с курдюками!

И все бегут за ним в горницу; ввалились, заскрипели, – морозный пар клубами валит.

– Запирайте, – кричат, – двери-то! Все комнаты выстудили.

– Ну, где киргизски овцы? Кажи, «чучело»!

Телепень еле дышит, пыхтит. Пар от него, что из бани. Свалил он мешок на пол.

– Сичас... добри чиловек... годи мала-мала... вязать нет будем.

Развязал, распустил мешок. Из него показалась голова Ивана Иваныча!

Все ахнули, руками всплеснули.

Телепень вытащил Иван Иваныча, в тулупчике, и барана вытащил, рядом поставил.

– Вот тебе... добри чиловек... Иван тащил и баран тащил...

– Ах ты, идол некрещеный!

– Ах ты, бухар, азият... нехристь!

– Ах ты, баран... дерево!..

И все кинулись к Иван Ивановичу. Видят, что человек совсем обмерз. Слова не может сказать, только мычит, стонет и руками машет.

Повели его в угольную, уложили, шубами укутали. К рукам и ногам горячей золы приложили. Добрый стакан мятной в желудок впустили. Наконец, чаем с малиной отпоили, отпарили. Обогрелся, успокоился, уснул, наконец, Иван Иванович.

Позвал Ипат Исаич остолопа башкирского. Насилу добились его.

– Ах ты, богомерзкий истукан! Сказывай, зачем ты его притащил!.. Да не кричи! ни! ни!..

– Дюша моя!.. Сама говорил... Слушай Телепень: баран тащи, Иван тащи... Я Иван тащил, баран тащил... Чтоб тебе, дюша, весело был... Зачем бранишь?!

– Где же ты Ивана взял?

– А сам, дюша моя, ко мне пришел. Я его мала-мала манил... Угой (совой) кричал... Он ко мне шел... Я его мала-мала взял и мешкам клал.

– Зачем же я тебя, болвана сиволапого, с бараном-то послал?..

– А я думал... добри чиловек... Чтоб Иван один не скушна был... туда ему баран клал... Иван сидит, сидит... пищит мала-мала... Я говорю ему годи... добри чиловек... у тебя

баран есть... Баран сидит, сидит... кричит мала-мала... Я ему говорю... годи, баран, у тебя Иван есть...

– А письмо-то куда дел?

– Вот, дюша моя, и письмо... Нигде не ронял... Назад тащил... На его!

И вытащил Телепень письмо, смятое, размокшее от поту, и подал его Ипат Исаичу. Прогнали спать Телепня; ахали, охали, дивовались, шептались и даже смеялись втихомолку и, наконец, все тоже спать легли.

На другой день поднялись, когда уже ранняя обедня отошла.

Проснулся и Иван Иванович, стал соображать, как он здесь очутился и как ему поступить в этом случае.

Должно заметить, что вчера он крепко перетрусил, когда Телепень сгреб его и засадил в мешок. Он думал, что его, раба Божья, сейчас же притащат к проруби и бух, прямо в озеро. А утром очень уж обидно казалось ему, что его, как барана, насильно притащили. В угловой комнате было тепло, приятно, на дворе солнышко светило, в углу перед образом тихим огоньком лампадочка теплилась. Хорошо было, отрадно; а досада и злоба все-таки нет-нет да и наплывут, накроют сердце темной тучей. И совсем уже он был готов рассердиться и потемнеть, как в это самое время дверь тихонько отворилась, вбежала Нюша и прямехонько бросилась к нему на шею.

– Здравствуй, дядя Иваша! Вот тебе мой баран. Я тебе

его вчера послала, да дурень Телепень в мешок его положил... Слушай, дядя Иваша, ты моего папу, маму не обижай!.. Стыдно, грех тебе будет... Нас... нас... всех выгонят на улицу... жить нам негде будет... – и она расплакалась.

А дядя Иваша взял ее на руки и начал целовать. И Ньюша плачет, и дядя Иван плачет. И так ему легко, хорошо стало. Точно все прошло, и ничего не было, и старое опять вернулось во всей его старой прелести.

Вошли тихохонько Ипат Исаич и Марфа Парфеновна, вошли, оба молча низехонько поклонились.

А дядя Иваша подозвал их обоих, обнял и расцеловал.

И снова отдал Иван Иваныч, возвратил все, что оттягивал, и даже от собственной землицы степной целый клин подарил.

– Вот, мамочка, видишь, – говорит Ньюша. – Я говорила тебе, что дядя Иваша только пошутил и все назад отдаст.

А вечером пришел Телепень и поклонился Ипат Исаичу.

– Прощай!.. добри чиловек... домой иду.

– Как! Зачем? куда!.. домой...

– Ты меня все бранишь... Я тебе баран тащил... Иван тащил... а ты все бранишь...

И как ни уговаривали Телепня, – не остался.

– Да ты хоть подожди до утра, дурень! Куда, на ночь глядя, пойдешь?! Замерзнешь дорогой!

Но не остался Телепень и до утра. Ушел в свои края вольные, на простор лугов и ковыльных степей.

1895



# Л. Н. Андреев

## Ангелочек



### I

Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гим-

назию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему показалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его еще больше и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет, на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина била скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощения, щенок», – и ответ: «Не попрошу, хоть тресни». Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и, когда мать стала бить его, он укусил ее за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребята-

ми и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы, на выезде, зажегся красноватый, немигающий огонек. Мороз усилился, и, когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажженного фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.

– Где полуночицаешь, щенок? – крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у нее были засучены, обнажая белые, толстые руки, и на безбровом, плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

– Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыхание отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя

на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.

– Сашка! А тебя Свечниковы на елку звали. Горничная приходила, – прошептал он.

– Врешь? – спросил с недоверием Сашка.

– Ей-богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.

– Врешь? – все больше удивлялся Сашка.

Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не вели после его исключения показываться к ним. Отец еще раз побожился, и Сашка задумался.

– Ну-ка подвинься, расселся! – сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил: – А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если еще я к ним пойду. «Испорченный мальчик», – протянул Сашка в нос. – Сами хороши, антипы толсторожие.

– Ах, Сашка, Сашка! – поежился от холода отец. – Не сносить тебе головы.

– А ты-то сносил? – грубо возразил Сашка. – Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюрь!

Отец сидел молча и ежился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но когда он начал харкать кровью и не мог

больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она выместила все, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели. Теперь она говорила, что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними веселые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съевшийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у нее на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики.

Через час мать говорила Сашке:

– А я тебе говорю, что ты пойдешь! – И при каждом слове Феоктиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.

– А я тебе говорю, что не пойду, – хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подергивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.

– Изобью я тебя, ох как изобью! – кричала мать.

– Что же, избеи!

Феоктиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если выгнать на улицу, то он

отправится шататься и скорее замерзнет, чем пойдет к Свечниковым; поэтому она прибегала к авторитету мужа.

– А еще отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.

– Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? – отозвался тот с лежанки. – Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкина еще рождения, был учителем у Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он еще служил в земской статистике и ничего не пил. Разошелся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его пьяного поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феоктиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги и все, что связывалось с прошлым ее мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.

– Может быть, и мне что-нибудь с елки принесешь, – продолжал отец.

Он хитрил – Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему действительно захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего табаку.

– Ну, ладно! – буркнул он. – Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!

## II

Детей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошел к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста еще не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивленные глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.

— Ты неблагодалный мальчик? — спросил он Сашку. — Мне мисс сказала. А я холосой.

— Уж на что же лучше! — ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок.

— Хочешь лузь? На! — протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой.

Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дернул собачку. Пробка ударилась

по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:

– Злой... Злой мальчик.

В детскую вошла молодая, красивая женщина с гладко зачесанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

– Вот этот, – сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому господину. – Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил ее, а она вышла за другого, и хотя это случилось после того, как он женился сам, Сашка не мог простить измены.

– Дурная кровь, – вздохнула Софья Дмитриевна. – Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

– Не хочу, – коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».

– Что же, братец, в пастухи хочешь? – спросил господин.

– Нет, не в пастухи, – обиделся Сашка.

– Так куда же?



Сашка не знал, куда он хочет.

– Мне все равно, – ответил он, подумав, – хоть и в пастухи.

Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное ей раздражительное состояние.

– Я хочу и в ремесленное, – скромно сказал Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.

– Но едва ли вакансия найдется, – сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и поглаживая поднявшиеся на затылке волосики. – Впрочем, мы еще посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери и чей-то голос сказал:

– Дети, идите! Тише, тише!

Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет, без те-

ней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм и печален – что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку,

он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, не передаваемого словами, неопределяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:

— Милый... милый ангелочек!

И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и непохож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жесто-

костью прикоснуться к его нежным крылышкам.

– Милый... милый! – шептал Сашка.

Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он еще здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка – важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачесанных волос. Дети окружили ее с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомленно повисла у нее на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошел и Сашка. Горло его перехватывало.

– Тетя, а тетя, – сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило еще более грубо, чем всегда. – Те... Тетечка.

Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дернул ее за платье.

– Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье? – удивилась седая дама. – Это невежливо.

– Те... тетечка. Дай мне одну штуку с елки – ангелочка.

– Нельзя, – равнодушно ответила хозяйка. – Елку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марией Дмитриевной.

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.

– Я раскаиваюсь. Я буду учиться, – отрывисто говорил он.

Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.

– И хорошо сделаешь, мой друг, – ответила она так же равнодушно.

Сашка грубо сказал:

– Дай ангелочка.

– Да нельзя же! – говорила хозяйка. – Как ты этого не понимаешь?

Но Сашка не понимал, и когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на ее черное шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку все-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дернул тетку за платье и, когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.

– Да ты с ума сошел! – воскликнула седая дама и оглянулась; по счастью, в кабинете никого не было. – Что с тобой?

Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на нее и грубо потребовал:

– Дай ангелочка!

Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на ее губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:

– Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, – поучительно добавила седая дама, – не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом. «Толкуй там», – думал Сашка, стараясь опередить тетку и наступая ей на платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка.

– Красивая вещь, – сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. – Кто это повесил ее сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с ним делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, – солгала она.

Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.

– Ну, на уж, на, – с неудовольствием сказала она. – Какой настойчивый!

Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.

– А-ах! – вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.

– А-ах! – пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая елка, – и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съежившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.

– Я домой пойду, – глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. – К отцу.

### III

Мать спала, обессилев от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет ее с трудом проникал через закопченное стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.

– Хорош? – спрашивал шепотом Сашка.

Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу до-трагиваться.

– Да, в нем есть что-то особенное, – шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.

Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.

– Ты погляди, – продолжал отец, – он сейчас полетит.

– Видел уже, – торжествующе ответил Сашка. – Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыц, не трогай!

Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша наставительно шептал:

– Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь сломать можешь!

На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа.



Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а все окружающее – бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, – все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была ее душа, и внес луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядом с глазами отжившего человека – сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них ис-

чезало настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки.

Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец незаметным движением положил руки на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди.

– Это она тебе дала? – прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.

В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.

– А то кто же? Конечно, она.

Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торпливо отчеканили: час, два, три.

– Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? – задумчиво спро-

сил отец.

– Нет, – сознался Сашка. – А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.

– А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь все, что было, любишь и страдаешь, как наяву...

Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжелую, дрожащую руку, скосил с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.

– Ах, Саша, Саша! – всхлипывал отец. – Зачем все это?

– Ну, что еще? – сурово прошептал Сашка. – Совсем, ну совсем как маленький.

– Не буду... не буду, – с жалкой улыбкой извинился отец. – Что уж... зачем?

Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-настойчиво: «Держу держи... держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба – и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лег на спину, чтобы

поскорее начать смотреть на ангелочка.

– Что же ты не раздеваешься? – спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло я поправляя наброшенное на ноги пальто.

– Ни к чему. Скоро встану.

Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, что точно шел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот ангелочек вострепнулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув усиками, побежал дальше.

В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.



# А. И. Куприн

## Чудесный доктор



Следующий рассказ не есть плод досужего вымысла. Все описанное мною действительно произошло в Киеве лет около тридцати тому назад и до сих пор свято, до мельчайших подробностей, сохраняется в преданиях того семейства, о котором пойдет речь. Я, с своей стороны, лишь изменил имена некоторых действующих лиц этой трогательной истории

да придал устному рассказу письменную форму.

– Гриш, а Гриш! Гляди-ка, поросенок-то... Смеется... Да-а. А во рту-то у него!.. Смотри, смотри... травка во рту, ей-богу, травка!.. Вот штука-то!

И двое мальчуганов, стоящих перед огромным, из цельного стекла, окном гастрономического магазина, принялись неудержимо хохотать, толкая друг друга в бок локтями, но невольно приплясывая от жестокой стужи. Они уже более пяти минут торчали перед этой великолепной выставкой, возбуждавшей в одинаковой степени их умы и желудки. Здесь, освещенные ярким светом висящих ламп, возвышались целые горы красных крепких яблоков и апельсинов; стояли правильные пирамиды мандаринов, нежно золотившихся сквозь окутывающую их папиросную бумагу; протянулись на блюдах, уродливо разинув рты и выпучив глаза, огромные копченые и маринованные рыбы; ниже, окруженные гирляндами колбас, красовались сочные разрезанные окорока с толстым слоем розоватого сала... Бесчисленное множество баночек и коробочек с солеными, вареными и копчеными закусками довершало эту эффектную картину, глядя на которую оба мальчика на минуту забыли о двенадцатиградусном морозе и о важном поручении, возложенном на них матерью, – поручении, окончившемся так неожиданно и так плачевно.

Старший мальчик первый оторвался от созерцания очаровательного зрелища.

Он дернул брата за рукав и произнес сурово:

– Ну, Володя, идем, идем... Нечего тут...

Одновременно подавив тяжелый вздох (старшему из них было только десять лет, и к тому же оба с утра ничего не ели, кроме пустых щей) и кинув последний влюбленно-жадный взгляд на гастрономическую выставку, мальчуганы торопливо побежали по улице. Иногда сквозь запотевшие окна какого-нибудь дома они видели елку, которая издали казалась громадной гроздью ярких, сияющих пятен, иногда они слышали даже звуки веселой польки... Но они мужественно гнали от себя прочь соблазнительную мысль: остановиться на несколько секунд и прильнуть глазком к стеклу.

По мере того как шли мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. Прекрасные магазины, сияющие елки, рысаки, мчавшиеся под своими синими и красными сетками, визг полозьев, праздничное оживление толпы, веселый гул окриков и разговоров, разруганные морозом смеющиеся лица нарядных дам – все осталось позади. Потянулись пустыри, кривые, узкие переулки, мрачные, неосвещенные косогоры... Наконец они достигли покосившегося ветхого дома, стоявшего особняком; низ его – собственно подвал – был каменный, а верх – деревянный. Обойдя тесным, облепленным и грязным двором, служившим для всех жильцов естественной помойной ямой, они спустились вниз, в подвал, прошли в темноте общим коридором, отыскивали ощупью свою дверь и отворили ее.



Уже более года жили Мерцаловы в этом подземелье. Оба мальчугана давно успели привыкнуть и к этим закоптелым, плачущим от сырости стенам, и к мокрым отрепкам, сушившимся на протянутой через комнату веревке, и к этому ужасному запаху керосинового чада, детского грязного белья и крыс – настоящему запаху нищеты. Но сегодня, после всего, что они видели на улице, после этого праздничного ликования, которое они чувствовали повсюду, их маленькие детские сердца сжались от острого, недетского страдания. В углу, на грязной широкой постели, лежала девочка лет семи; ее лицо горело, дыхание было коротко и затруднительно, широко раскрытые блестящие глаза смотрели пристально и бесцельно. Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, морщась, надрываясь и захлебываясь, грудной ребенок. Высокая, худая женщина, с изможденным, усталым, точно почерневшим от горя лицом, стояла на коленях около больной девочки, поправляя ей подушку и в то же время не забывая подталкивать локтем качающуюся колыбель. Когда мальчики вошли и следом за ними стремительно ворвались в подвал белые клубы морозного воздуха, женщина обернула назад свое встревоженное лицо.

– Ну? Что же? – спросила она отрывисто и нетерпеливо.

Мальчики молчали. Только Гриша шумно вытер нос рукавом своего пальто, переделанного из старого ватного халата.

– Отнесли вы письмо?.. Гриша, я тебя спрашиваю, отдал ты письмо?

– Отдал, – сиплым от мороза голосом ответил Гриша.

– Ну, и что же? Что ты ему сказал?

– Да все, как ты учила. Вот, говорю, от Мерцалова письмо, от вашего бывшего управляющего. А он нас обругал: «Убирайтесь вы, говорит, отсюда... Сволочи вы...»

– Да кто же это? Кто же с вами разговаривал?.. Говори толком, Гриша!

– Швейцар разговаривал... Кто же еще? Я ему говорю: «Возьмите, дяденька, письмо, передайте, а я здесь внизу ответа подожду». А он говорит: «Как же, говорит, держи карман... Есть тоже у барина время ваши письма читать...»

– Ну, а ты?

– Я ему все, как ты учила, сказал: «Есть, мол, нечего... Машутка больна... Помирает...» Говорю: «Как папа место найдет, так отблагодарит вас, Савелий Петрович, ей-богу, отблагодарит». Ну, а в это время звонок как зазвонит, как зазвонит, а он нам и говорит: «Убирайтесь скорее отсюда к черту! Чтобы духу вашего здесь не было!..» А Володьку даже по затылку ударил.

– А меня он по затылку, – сказал Володя, следивший со вниманием за рассказом брата, и почесал затылок.

Старший мальчик вдруг принялся озабоченно рыться в глубоких карманах своего халата. Вытащив наконец оттуда измятый конверт, он положил его на стол и сказал:

– Вот оно, письмо-то...

Больше мать не расспрашивала. Долгое время в душевной,

промозглой комнате слышался только неистовый крик младенца да короткое, частое дыхание Машутки, больше похожее на непрерывные однообразные стоны. Вдруг мать сказала, обернувшись назад:

– Там борщ есть, от обеда остался... Может, поели бы? Только холодный, – разогреть-то нечем...

В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте дверь. Мать и оба мальчика – все трое даже побледнев от напряженного ожидания – обернулись в эту сторону.

Вошел Мерцалов. Он был в летнем пальто, летней войлочной шляпе и без калош. Его руки взбухли и посинели от мороза, глаза провалились, щеки облипли вокруг десен, точно у мертвеца. Он не сказал жене ни одного слова, она ему не задала ни одного вопроса. Они поняли друг друга по тому отчаянию, которое прочли друг у друга в глазах.

В этот ужасный, роковой год несчастье за несчастьем настойчиво и безжалостно сыпались на Мерцалова и его семью. Сначала он сам заболел брюшным тифом, и на его лечение ушли все их скудные сбережения. Потом, когда он поправился, он узнал, что его место, скромное место управляющего домом на двадцать пять рублей в месяц, занято уже другим... Началась отчаянная, судорожная погоня за случайной работой, за перепиской, за ничтожным местом, залог и презалог вещей, продажа всякого хозяйственного тряпья. А тут еще пошли болеть дети. Три месяца тому назад умерла

одна девочка, теперь другая лежит в жару и без сознания. Елизавете Ивановне приходилось одновременно ухаживать за больной девочкой, кормить грудью маленького и ходить почти на другой конец города в дом, где она поденно стирала белье.

Весь сегодняшний день был занят тем, чтобы посредством нечеловеческих усилий выжать откуда-нибудь хоть несколько копеек на лекарство Машутке. С этой целью Мерцалов обегал чуть ли не полгорода, кланча и унижаясь повсюду; Елизавета Ивановна ходила к своей барыне, дети были посланы с письмом к тому барину, домом которого управлял раньше Мерцалов... Но все отговаривались или праздничными хлопотами, или неимением денег... Иные, как, например, швейцар бывшего патрона, просто-напросто гнали просителей с крыльца.

Минут десять никто не мог произнести ни слова. Вдруг Мерцалов быстро поднялся с сундука, на котором он до сих пор сидел, и решительным движением надвинул глубже на лоб свою истрепанную шляпу.

– Куда ты? – тревожно спросила Елизавета Ивановна.

Мерцалов, взявшийся уже за ручку двери, обернулся.

– Все равно, сидением ничего не поможешь, – хрипло ответил он. – Пойду еще... Хоть милостыню попробую просить.

Выйдя на улицу, он пошел бесцельно вперед. Он ничего не искал, ни на что не надеялся. Он давно уже пережил

то жгучее время бедности, когда мечтаешь найти на улице бумажник с деньгами или получить внезапно наследство от неизвестного троюродного дядюшки. Теперь им овладело неудержимое желание бежать куда попало, бежать без оглядки, чтобы только не видеть молчаливого отчаяния голодной семьи.

Просить милостыни? Он уже попробовал это средство сегодня два раза. Но в первый раз какой-то господин в енотовой шубе прочел ему наставление, что надо работать, а не кланяться, а во второй – его обещали отправить в полицию.

Незаметно для себя Мерцалов очутился в центре города, у ограды густого общественного сада. Так как ему пришлось все время идти в гору, то он запыхался и почувствовал усталость. Машинально он свернул в калитку и, пройдя длинную аллею лип, занесенных снегом, опустился на низкую садовую скамейку.

Тут было тихо и торжественно. Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. Иногда с верхней ветки срывался кусочек снега, и слышно было, как он шуршал, падая и цепляясь за другие ветви.

Глубокая тишина и великое спокойствие, сторожившие сад, вдруг пробудили в истерзанной душе Мерцалова нестерпимую жажду такого же спокойствия, такой же тишины.

«Вот лечь бы и заснуть, – думал он, – и забыть о жене, о голодных детях, о больной Машутке». Просунув руку под жилет, Мерцалов нащупал довольно толстую веревку, слу-

жившую ему поясом. Мысль о самоубийстве совершенно ясно встала в его голове. Но он не ужаснулся этой мысли, ни на мгновение не содрогнулся перед мраком неизвестного.

«Чем погибать медленно, так не лучше ли избрать более краткий путь?» Он уже хотел встать, чтобы исполнить свое страшное намерение, но в это время в конце аллеи послышался скрип шагов, отчетливо раздавшийся в морозном воздухе. Мерцалов с озлоблением обернулся в эту сторону. Кто-то шел по аллее. Сначала был виден огонек то вспыхивающей, то потухающей сигары. Потом Мерцалов мало-помалу мог разглядеть старика небольшого роста, в теплой шапке, меховом пальто и высоких калошах. Поравнявшись со скамейкой, незнакомец вдруг круто повернул в сторону Мерцалова и, слегка дотрагиваясь до шапки, спросил:

– Вы позволите здесь присесть?

Мерцалов умышленно резко отвернулся от незнакомца и подвинулся к краю скамейки. Минут пять прошло в обоюдном молчании, в продолжение которого незнакомец курил сигару и (Мерцалов это чувствовал) искоса наблюдал за своим соседом.

– Ночка-то какая славная, – заговорил вдруг незнакомец. – Морозно... тихо. Что за прелесть – русская зима!

Голос у него был мягкий, ласковый, старческий. Мерцалов молчал, не оборачиваясь.

– А я вот ребятишкам знакомым подарочки купил, – продолжал незнакомец (в руках у него было несколько сверт-

ков). – Да вот по дороге не утерпел, сделал круг, чтобы садом пройти: очень уж здесь хорошо.

Мерцалов вообще был кротким и застенчивым человеком, но при последних словах незнакомца его охватил вдруг прилив отчаянной злобы. Он резким движением повернулся в сторону старика и закричал, нелепо размахивая руками и задыхаясь:

– Подарочки!.. Подарочки!.. Знакомым ребятишкам подарочки!.. А я... а у меня, милостивый государь, в настоящую минуту мои ребятишки с голоду дома подыхают... Подарочки!.. А у жены молоко пропало, и грудной ребенок целый день не ел... Подарочки!..

Мерцалов ожидал, что после этих беспорядочных, озлобленных криков старик поднимется и уйдет, но он ошибся. Старик приблизил к нему свое умное, серьезное лицо с седыми баками и сказал дружелюбно, но серьезным тоном:

– Подождите... не волнуйтесь! Расскажите мне все по порядку и как можно короче. Может быть, вместе мы придумаем что-нибудь для вас.

В необыкновенном лице незнакомца было что-то до того спокойное и внушающее доверие, что Мерцалов тотчас же без малейшей утайки, но страшно волнуясь и спеша, передал свою историю. Он рассказал о своей болезни, о потере места, о смерти ребенка, обо всех своих несчастьях, вплоть до нынешнего дня. Незнакомец слушал, не перебивая его ни словом, и только все пытливее и пристальнее заглядывал в его

глаза, точно желая проникнуть в самую глубь этой наболевшей, возмущенной души. Вдруг он быстрым, совсем юношеским движением вскочил с своего места и схватил Мерцалова за руку.

Мерцалов невольно тоже встал.

– Едемте! – сказал незнакомец, увлекая за руку Мерцалова. – Едемте скорее!.. Счастье ваше, что вы встретились с врачом. Я, конечно, ни за что не могу ручаться, но... поедemте!

Минут через десять Мерцалов и доктор уже входили в подвал. Елизавета Ивановна лежала на постели рядом со своей больной дочерью, зарывшись лицом в грязные, замаслившиеся подушки. Мальчишки хлебали борщ, сидя на тех же местах. Испуганные долгим отсутствием отца и неподвижностью матери, они плакали, размазывая слезы по лицу грязными кулаками и обильно проливая их в закопченный чугунок. Войдя в комнату, доктор скинул с себя пальто и, оставшись в старомодном, довольно поношенном сюртуке, подошел к Елизавете Ивановне. Она даже не подняла головы при его приближении.

– Ну, полно, полно, голубушка, – заговорил доктор, ласково погладив женщину по спине. – Вставайте-ка! Покажите мне вашу больную.

И точно так же, как недавно в саду, что-то ласковое и убедительное, звучавшее в его голосе, заставило Елизавету Ивановну мигом подняться с постели и беспрекословно ис-



полнить все, что говорил доктор. Через две минуты Гришка уже растапливал печку дровами, за которыми чудесный доктор послал к соседям, Володя раздувал изо всех сил самовар, Елизавета Ивановна обворачивала Машутку согревающим компрессом... Немного погодя явился и Мерцалов. На три рубля, полученные от доктора, он успел купить за это время чаю, сахару, булок и достать в ближайшем трактире горячей пищи.

Доктор сидел за столом и что-то писал на клочке бумажки, который он вырвал из записной книжки. Окончив это занятие и изобразив внизу какой-то своеобразный крючок вместо подписи, он встал, прикрыл написанное чайным блюдечком и сказал:

— Вот с этой бумажкой вы пойдете в аптеку... давайте через два часа по чайной ложке. Это вызовет у малютки отхаркивание... Продолжайте согревающий компресс... Кроме того, хотя бы вашей дочери и сделалось лучше, во всяком случае пригласите завтра доктора Афросимова. Это дельный врач и хороший человек. Я его сейчас же предупрежу. Затем прощайте, господа! Дай Бог, чтобы наступающий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот, а главное — не падайте никогда духом.

Пожав руки Мерцалову и Елизавете Ивановне, все еще не оправившимся от изумления, и потрепав мимоходом по щеке разинувшего рот Володю, доктор быстро всунул свои ноги в глубокие калоши и надел пальто. Мерцалов опомнился

только тогда, когда доктор уже был в коридоре, и кинулся вслед за ним.

Так как в темноте нельзя было ничего разобрать, то Мерцалов закричал наугад:

– Доктор! Доктор, постойте!.. Скажите мне ваше имя, доктор! Пусть хоть мои дети будут за вас молиться!

И он водил в воздухе руками, чтобы поймать невидимого доктора. Но в это время в другом конце коридора спокойный старческий голос произнес:

– Э! Вот еще пустяки выдумали!.. Возвращайтесь-ка домой скорей!

Когда он возвратился, его ожидал сюрприз: под чайным блюдцем вместе с рецептом чудесного доктора лежало несколько крупных кредитных билетов...

В тот же вечер Мерцалов узнал и фамилию своего неожиданного благодетеля. На аптечном ярлыке, прикрепленном к пузырьку с лекарством, четкою рукою аптекаря было написано: «По рецепту профессора Пирогова».

Я слышал этот рассказ, и неоднократно, из уст самого Григория Емельяновича Мерцалова – того самого Гришки, который в описанный мною сочельник проливал слезы в закоптелый чугунок с пустым борщом. Теперь он занимает довольно крупный, ответственный пост в одном из банков, слывя образцом честности и отзывчивости на нужды бедности. И каждый раз, заканчивая свое повествование о чудесном докторе, он прибавляет голосом, дрожащим от скрываемых

слез:

– С этих пор точно благодетельный ангел снизошел в нашу семью. Все переменилось. В начале января отец отыскал место, Машутка встала на ноги, меня с братом удалось пристроить в гимназию на казенный счет. Просто чудо совершил этот святой человек. А мы нашего чудесного доктора только раз видели с тех пор – это когда его перевозили мертвого в его собственное имение Вишню. Да и то не его видели, потому что-то великое, мощное и святое, что жило и горело в чудесном докторе при его жизни, угасло невосвратимо.

*1897*

## А. И. Куприн Тапер



Двенадцатилетняя Тиночка Руднева влетела, как разрывная бомба, в комнату, где ее старшие сестры одевались с помощью двух горничных к сегодняшнему вечеру. Взволнованная, запыхавшаяся, с разлетевшимися кудряшками на лбу, вся розовая от быстрого бега, она была в эту минуту похожа на хорошенького мальчишку.

— Mesdames, а где же тапёр? Я спрашивала у всех в доме,

и никто ничего не знает. Тот говорит – мне не приказывали, тот говорит – это не мое дело... У нас постоянно, постоянно так, – горячилась Тиночка, топая каблуком о пол. – Всегда что-нибудь перепутают, забудут и потом начинают сваливать друг на друга...

Самая старшая из сестер, Лидия Аркадьевна, стояла перед трюмо. Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнаженную шею, она, слегка прищуривая близорукие глаза, закалывала в волосы чайную розу. Она не выносила никакого шума и относилась к «мелюзге» с холодным и вежливым презрением. Взглянув на отражение Тины в зеркале, она заметила с неудовольствием:

– Больше всего в доме беспорядка делаешь, конечно, ты, – сколько раз я тебя просила, чтобы ты не вбегала, как сумасшедшая, в комнаты.

Тина насмешливо присела и показала зеркалу язык. Потом она обернулась к другой сестре, Татьяне Аркадьевне, около которой возилась на полу модистка, подметывая на живую нитку низ голубой юбки, и затараторила:

– Ну, понятно, что от нашей Несмеяны-царевны ничего, кроме наставлений, не услышишь. Танечка, голубушка, как бы ты там все это устроила. Меня никто не слушается, только смеются, когда я говорю... Танечка, пойдем, пожалуйста, а то ведь скоро шесть часов, через час и елку будем зажигать...

Тина только в этом году была допущена к устройству елки. Не далее как на прошлое Рождество ее в это время запирали

с младшей сестрой Катей и с ее сверстницами в детскую, уверяя, что в зале нет никакой елки, а что «просто только пришли полотеры». Поэтому понятно, что теперь, когда Тина получила особые привилегии, равнявшие ее некоторым образом со старшими сестрами, она волновалась больше всех, хлопотала и бегала за десятерых, попадаясь ежеминутно кому-нибудь под ноги, и только усиливала общую суету, царившую обыкновенно на праздниках в рудневском доме.

Семья Рудневых принадлежала к одной из самых безалаберных, гостеприимных и шумных московских семей, обитающих испокон века в окрестностях Пресни, Новинского и Конюшков и создавших когда-то Москве ее репутацию хлебосольного города. Дом Рудневых – большой ветхий дом доекатерининской постройки, со львами на воротах, с широким подъездным двором и с массивными белыми колоннами у парадного, – круглый год с утра до поздней ночи кишел народом. Приезжали без всякого предупреждения, «сюрпризом», какие-то соседи по наровчатскому или инсарскому имению, какие-то дальние родственники, которых до сих пор никто в глаза не видал и не слышал об их существовании, – и гостили по месяцам. К Аркаше и Мите десятками ходили товарищи, менявшие с годами свою оболочку, сначала гимназистами и кадетами, потом юнкерами и студентами и, наконец, безусыми офицерами или щеголеватыми, преувеличенно серьезными помощниками присяжных поверенных. Девочек постоянно навещали подруги всевозможных

возрастов, начиная от Катиных сверстниц, приводивших с собою в гости своих кукол, и кончая приятельницами Лидии, которые говорили о Марксе и об аграрной системе и вместе с Лидией стремились на Высшие женские курсы. На праздниках, когда вся эта веселая, задорная молодежь собиралась в громадном рудневском доме, вместе с нею надолго водворялась атмосфера какой-то общей наивной, поэтической и шаловливой влюбленности.

Эти дни бывали днями полной анархии, приводившей в отчаяние прислугу. Все условные понятия о времени, разграниченном, «как у людей», чаем, завтраком, обедом и ужином, смешивались в шумной и беспорядочной суете. В то время, когда одни кончали обедать, другие только что начинали пить утренний чай, а третьи целый день пропадали на катке в Зоологическом саду, куда забирали с собой горы бутербродов. Со стола никогда не убрали, и буфет стоял открытым с утра до вечера. Несмотря на это, случалось, что молодежь, проголодавшись совсем в неуказанное время, после коньков или поездки на балаганы, отправляла на кухню депутацию к Акинфычу с просьбой приготовить «что-нибудь вкусненькое». Старый пьяница, но глубокий знаток своего дела, Акинфыч сначала обыкновенно долго не соглашался и ворчал на депутацию. Тогда в ход пускалась тонкая лесть: говорили, что теперь уже перевелись в Москве хорошие повара, что только у стариков и сохранилось еще неприкосновенным уважение к святости кулинарного искусства и

так далее. Кончалось тем, что задетый за живое Акинфич сдавался и, пробуя на большом пальце острие ножа, говорил с напускной суровостью:

– Ладно уж, ладно... будет петь-то... Сколько вас там, галчата?

Ирина Алексеевна Руднева – хозяйка дома – почти никогда не выходила из своих комнат, кроме особенно торжественных, официальных случаев. Урожденная княжна Ознобишина, последний отпрыск знатного и богатого рода, она раз навсегда решила, что общество ее мужа и детей слишком «мескинно<sup>12</sup>» и «брютально<sup>13</sup>», и потому равнодушно «иньорировала<sup>14</sup>» его, развлекаясь визитами к архиереям и поддержанием знакомства с такими же, как она сама, окаменелыми потомками родов, уходящих в седую древность. Впрочем, мужа своего Ирина Алексеевна не уставала даже и теперь тайно, но мучительно ревновать. И она, вероятно, имела для этого основания, так как Аркадий Николаевич, известный всей Москве гурман, игрок и щедрый покровитель балетного искусства, до сих пор еще, несмотря на свои пятьдесят с лишком лет, не утратил заслуженной репутации дамского угодника, поклонника и покорителя. Даже и теперь его можно было назвать красавцем, когда он, опоздав на десять минут к началу действия и обращая на себя общее внимание,

---

<sup>12</sup> Пошло (от фр. mesquin).

<sup>13</sup> Грубо (от фр. brutale).

<sup>14</sup> Игнорировала (от фр. ignorer).



входил в зрительную залу Большого театра – элегантный и самоуверенный, с гордо поставленной на осанистом туловище, породистой, слегка седеющей головой.

Аркадий Николаевич редко показывался домой, потому что обедал он постоянно в Английском клубе, а по вечерам ездил туда же играть в карты, если в театре не шел интересный балет. В качестве главы дома он занимался исключительно тем, что закладывал и перезаклаживал то одно, то другое недвижимое имущество, не заглядывая в будущее с беспечностью избалованного судьбой гран-сеньора. Привыкнув с утра до вечера вращаться в большом обществе, он любил, чтобы и в доме у него было шумно и оживленно. Изредка ему нравилось сюрпризом устроить для своей молодежи неожиданное развлечение и самому принять в нем участие. Это случалось большею частью на другой день после крупного выигрыша в клубе.

– Молодые республиканцы! – говорил он, входя в гостиную и сияя своим свежим видом и очаровательной улыбкой. – Вы, кажется, скоро все заснете от ваших серьезных разговоров. Кто хочет ехать со мной за город? Дорога прекрасная: солнце, снег и морозец. Страдающих зубной болью и мировой скорбью прошу оставаться дома под надзором нашей почтеннейшей Олимпиады Савичны...

Посылали за тройками к Ечкину, скакали сломя голову за Тверскую заставу, обедали в «Мавритании» или в «Стрельне» и возвращались домой поздно вечером, к большому

неудовольствию Ирины Алексеевны, смотревшей брезгливо на эти «эскапады»<sup>15</sup> дурного тона». Но молодежь нигде так безумно не веселилась, как именно в этих эскападах, под предводительством Аркадия Николаевича.

Неизменное участие принимал ежегодно Аркадий Николаевич и в елке. Этот детский праздник почему-то доставлял ему своеобразное, наивное удовольствие. Никто из домашних не умел лучше его придумать каждому подарок по вкусу, и потому в затруднительных случаях старшие дети прибегали к его изобретательности.

– Папа, ну что мы подарим Коле Радомскому? – спрашивали Аркадия Николаевича дочери. – Он большой такой, гимназист последнего класса... нельзя же ему игрушку...

– Зачем же игрушку? – возражал Аркадий Николаевич. – Самое лучшее купите для него хорошенький портсигар. Юноша будет польщен таким солидным подарком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина. Да, кстати, намеряйте этому Коле, чтобы он не стеснялся при мне курить. А то давеча, когда я вошел в гостиную, так он папироску в рукав спрятал...

Аркадий Николаевич любил, чтобы у него елка выходила на славу, и всегда приглашал к ней оркестр Рябова. Но в этом году<sup>16</sup> с музыкой произошел целый ряд роковых недо-

---

<sup>15</sup> Проказы (от фр. *escapade*).

<sup>16</sup> Рассказ относится к 1885 г.; кстати заметим, что основная фабула его покоится на действительном факте, сообщенном автору в Москве М. А. 3-вой, близко

разумений. К Рябову почему-то послали очень поздно; оркестр его, разделяемый на праздниках на три части, оказался уже разобранным. Маэстро в силу давнего знакомства с домом Рудневых обещал, однако, как-нибудь устроить это дело, надеясь, что в другом доме переменят день елки, но по неизвестной причине замедлил ответом, и когда бросились искать в другие места, то во всей Москве не оказалось ни одного оркестра. Аркадий Николаевич рассердился и велел отыскать хорошего тапёра, но кому отдал это приказание, он и сам теперь не помнил. Этот «кто-то», наверно, свалил данное ему поручение на другого, другой – на третьего, перетрав, по обыкновению, его смысл, а третий в общей сумятице и совсем забыл о нем...

Между тем пылкая Тина успела уже взбудоражить весь дом. Почтенная экономка, толстая, добродушная Олимпиада Савична, говорила, что и взаправду барин ей наказывал распорядиться о тапёре, если не приедет музыка, и что она об этом тогда же сказала камердинеру Луке. Лука, в свою очередь, оправдывался тем, что его дело ходить около Аркадия Николаевича, а не бегать по городу за фортепьянщиками. На шум прибежала из барышнинных комнат горничная Дуняша, подвижная и ловкая, как обезьяна, кокетка и болтунья, считавшая долгом ввязываться непременно в каждое неприятное происшествие. Хотя ее и никто не спрашивал, но

---

знавшей семью, названную в рассказе вымышленной фамилией Рудневых. (Примеч. авт.)

она совалась к каждому с жаркими уверениями, что пускай ее Бог разразит на этом месте, если она хоть краешком уха что-нибудь слышала о тапёре. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница, если бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна, полная веселая блондинка, которую вся прислуга обожала за ее ровный характер и удивительное умение улаживать внутренние междоусобицы.

— Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня, — сказала она своим спокойным, слегка насмешливым, как у Аркадия Николаевича, голосом. — Как бы то ни было, Дуняша сейчас же отправится разыскивать тапёра. Покамест ты будешь одеваться, Дуняша, я тебе выпишу из газеты адреса. Постарайся найти поближе, чтобы не задерживать елки, потому что сию минуту начнут съезжаться. Деньги на извозчика возьми у Олимпиады Савичны...

Едва она успела это произнести, как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда стремглав, навстречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных с мороза, запущенных снегом и внесших за собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах свежих яблоков. Оказалось, что две большие семьи — Лыковых и Масловских — столкнулись случайно, одновременно подъехав к воротам. Передняя сразу наполнилась разговором, смехом, топотом ног и звонкими поцелуями.

Звонки раздавались один за другим почти непрерывно. Приезжали все новые и новые гости. Барышни Рудневы ед-

ва успевали справляться с ними. Взрослых приглашали в гостиную, а маленьких завлекали в детскую и в столовую, чтобы запереть их там предательским образом. В зале еще не зажигали огня.

Огромная елка стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь на ней тускло поблескивала, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей.

Дуняша все еще не возвращалась, и подвижная, как ртуть, Тина сгорала от нетерпеливого беспокойства. Десять раз подбегала она к Тане, отводила ее в сторону и шептала взволнованно:

– Танечка, голубушка, как же теперь нам быть?.. Ведь это же ни на что не похоже.

Таня сама начинала тревожиться. Она подошла к старшей сестре и сказала вполголоса:

– Я уж не придумаю, что делать. Придется попросить тетю Соню поиграть немного... А потом я ее сама как-нибудь заменю.

– Благодарю покорно, – насмешливо возразила Лидия. – Тетя Соня будет потом нас целый год своим одолжением доносить. А ты так хорошо играешь, что уж лучше совсем без музыки танцевать.

В эту минуту к Татьяне Аркадьевне подошел, неслышно ступая своими замшевыми подошвами, Лука.

– Барышня, Дуняша просит вас на секунду выйти к ним.  
– Ну что, привезла? – спросили в один голос все три сестры.

– Пожалуйте-с. Извольте-с посмотреть сами, – уклончиво ответил Лука. – Они в передней... Только что-то сомнительно-с... Пожалуйте.

В передней стояла Дуняша, еще не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади ее копошилась в темном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая желтый башлык, окутывавший ее голову.

– Только, барышня, не браните меня, – зашептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяны Аркадьевны. – Разрази меня Бог – в пяти местах была и ни одного тапера не застала. Вот нашла этого мальчика, да уж и сама не знаю, годится ли. Убей меня Бог, только один и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах, а я почему могу знать...

Между тем маленькая фигурка, освободившись от своего башлыка и пальто, оказалась бледным, очень худощавым мальчиком в подержанном мундирчике реального училища. Понимая, что речь идет о нем, он в неловкой выжидательной позе держался в своем углу, не решаясь подойти ближе.

Наблюдательная Таня, бросив на него украдкой несколько взглядов, сразу определила про себя, что этот мальчик застенчив, беден и самолюбив. Лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами; несколько наивный вид ему придавали вихры темных волос, завива-

ющихся «гнездышками» по обеим сторонам высокого лба, но большие серые глаза – слишком большие для такого худенького детского лица – смотрели умно, твердо и не по-детски серьезно. По первому впечатлению мальчику можно было дать лет одиннадцать-двенадцать.

Татьяна сделала к нему несколько шагов и, сама стесняясь не меньше его, спросила нерешительно:

– Вы говорите, что вам уже приходилось... играть на вечерах?

– Да... я играл, – ответил он голосом, несколько сиплым от мороза и от робости. – Вам, может быть, оттого кажется, что я такой маленький...

– Ах, нет, вовсе не это... Вам ведь лет тринадцать, должно быть?

– Четырнадцать-с.

– Это, конечно, все равно. Но я боюсь, что без привычки вам будет тяжело.

Мальчик откашлялся.

– О нет, не беспокойтесь... Я уже привык к этому. Мне случалось играть по целым вечерам, почти не переставая...

Таня вопросительно посмотрела на старшую сестру, Лидия Аркадьевна, отличавшаяся странным бессердечием по отношению ко всему загнанному, подвластному и приниженному, спросила со своей обычной презрительной миной:

– Вы умеете, молодой человек, играть кадрили?

Мальчик качнулся туловищем вперед, что должно было

означать поклон.

– Умею-с.

– И вальс умеете?

– Да-с.

– Может быть, и польку тоже?

Мальчик вдруг густо покраснел, но ответил сдержанным тоном:

– Да, и польку тоже.

– А лансье? – продолжала дразнить его Лидия.

– *Laissez done, Lidie, vous etes impossible*<sup>17</sup>, – строго заметила Татьяна Аркадьевна.

Большие глаза мальчика вдруг блеснули гневом и насмешкой. Даже напряженная неловкость его позы внезапно исчезла.

– Если вам угодно, *mademoiselle*, – резко повернулся он к Лидии, – то, кроме полек и кадрилией, я играю еще все сонаты Бетховена, вальсы Шопена и рапсодии Листа.

– Воображаю! – деланно, точно актриса на сцене, уронила Лидия, задетая этим самоуверенным ответом.

Мальчик перевел глаза на Таню, в которой он инстинктивно угадал заступницу, и теперь эти огромные глаза приняли умоляющее выражение.

– Пожалуйста, прошу вас... позвольте мне что-нибудь сыграть...

Чуткая Таня поняла, как больно затронула Лидия само-

---

<sup>17</sup> Перестаньте же, Лидия, вы невозможны (*фр.*).



любие мальчика, и ей стало жалко его. А Тина даже запрыгала на месте и захлопала в ладоши от радости, что эта противная гордячка Лидия сейчас получит щелчок.

– Конечно, Танечка, конечно, пускай сыграет, – упрашивала она сестру, и вдруг со своей обычной стремительностью, схватив за руку маленького пианиста, она потащила его в залу, повторяя: – Ничего, ничего... Вы сыграете, и она останется с носом... Ничего, ничего.

Неожиданное появление Тины, влекшей на буксире застенчиво улыбавшегося реалистика, произвело общее недоумение. Взрослые один за другим переходили в залу, где Тина, усадив мальчика на выдвижной табурет, уже успела зажечь свечи на великолепном шредеровском фортепиано.

Реалист взял наугад одну из толстых, переплетенных в шагреня нотных тетрадей и раскрыл ее. Затем, обернувшись к дверям, в которых стояла Лидия, резко выделяясь своим белым атласным платьем на черном фоне неосвещенной гостиной, он спросил:

– Угодно вам «Rapsodie Hongroise»<sup>18</sup> № 2 Листа?

Лидия пренебрежительно выдвинула вперед нижнюю губу и ничего не ответила. Мальчик бережно положил руки на клавиши, закрыл на мгновение глаза, и из-под его пальцев полились торжественные, величавые аккорды начала рапсодии. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, из-

---

<sup>18</sup> «Венгерская рапсодия» (фр.).

влекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки. И лицо его как будто бы сразу преобразилось, просветлело и стало почти прекрасным; бледные губы слегка полукоткрылись, а глаза еще больше увеличились и сделались глубокими, влажными и сияющими.

Зала понемногу наполнялась слушателями. Даже Аркадий Николаевич, любивший музыку и знавший в ней толк, вышел из своего кабинета. Подойдя к Тане, он спросил ее на ухо:

– Где вы достали этого карапуза?

– Это тапёр, папа, – ответила тихо Татьяна Аркадьевна. – Правда, отлично играет?

– Тапёр? Такой маленький? Неужели? – удивлялся Руднев. – Скажите пожалуйста, какой мастер! Но ведь это безбожно заставлять его играть танцы.

Когда Таня рассказала отцу о сцене, происшедшей в передней, Аркадий Николаевич покачал головой.

– Да, вот оно что... Ну, что ж делать, нельзя обижать мальчугана. Пускай играет, а потом мы что-нибудь придумаем.

Когда реалист окончил рапсодию, Аркадий Николаевич первый захлопал в ладоши. Другие также принялись аплодировать. Мальчик встал с высокого табурета, раскрасневшийся и взволнованный; он искал глазами Лидию, но ее уже не было в зале.

– Прекрасно играете, голубчик. Большое удовольствие нам доставили, – ласково улыбался Аркадий Николаевич,

подходя к музыканту и протягивая ему руку. – Только я боюсь, что вы... как вас величать-то, я не знаю.

– Азагаров, Юрий Азагаров.

– Боюсь я, милый Юрочка, не повредит ли вам играть целый вечер? Так вы, знаете ли, без всякого стеснения скажите, если устанете. У нас найдется здесь кому побренчать. Ну, а теперь сыграйте-ка нам какой-нибудь марш побравурнее.

Под громкие звуки марша из «Фауста» были поспешно зажжены свечи на елке. Затем Аркадий Николаевич собственноручно распахнул настежь двери столовой, где толпа детишек, ошеломленная внезапным ярким светом и ворвавшейся к ним музыкой, точно окаменела в наивно изумленных забавных позах. Сначала робко, один за другим, входили они в залу и с почтительным любопытством ходили кругом елки, задирая вверх свои милые мордочки. Но через несколько минут, когда подарки уже были розданы, зала наполнилась невообразимым гамом, писком и счастливым звонким детским хохотом. Дети точно опьянели от блеска елочных огней, от смолистого аромата, от громкой музыки и от великолепных подарков. Старшим никак не удавалось собрать их в хоровод вокруг елки, потому что то один, то другой вырывался из круга и бежал к своим игрушкам, оставленным кому-нибудь на временное хранение.

Тина, которая после внимания, оказанного ее отцом Азагарову, окончательно решила взять мальчика под свое покровительство, подбежала к нему с самой дружеской улыб-

кой.

– Пожалуйста, сыграйте нам польку.

Азагаров заиграл, и перед его глазами закружились белые, голубые и розовые платица, короткие юбочки, из-под которых быстро мелькали белые кружевные панталончики, русые и черные головки в шапочках из папиросной бумаги. Играя, он машинально прислушивался к равномерному шарканью множества ног под такт его музыки, как вдруг необычайное волнение, пробежавшее по всей зале, заставило его повернуть голову ко входным дверям.

Не переставая играть, он увидел, как в залу вошел пожилой господин, к которому, точно по волшебству, приковались глаза всех присутствующих. Вошедший был немного выше среднего роста и довольно широк в кости, но не полн. Держался он с такой изящной, неуловимо небрежной и в то же время величавой простотой, которая свойственна только людям большого света.

Сразу было видно, что этот человек привык чувствовать себя одинаково свободно и в маленькой гостиной, и перед тысячной толпой, и в залах королевских дворцов. Всего замечательнее было его лицо – одно из тех лиц, которые запечатлеваются в памяти на всю жизнь с первого взгляда: большой четырехугольный лоб был изборожден суровыми, почти гневными морщинами; глаза, глубоко сидевшие в орбитах, с повисшими над ними складками верхних век, смотрели тяжело, утомленно и недовольно; узкие бритые губы были

энергичны и крепко сжаты, указывая на железную волю в характере незнакомца, а нижняя челюсть, сильно выдвинувшаяся вперед и твердо обрисованная, придавала физиономии отпечаток властности и упорства. Общее впечатление довершала длинная грива густых, небрежно заброшенных назад волос, делавшая эту характерную, гордую голову похожей на львиную...

Юрий Азагаров решил в уме, что новоприбывший гость, должно быть, очень важный господин, потому что даже чопорные пожилые дамы встретили его почтительными улыбками, когда он вошел в залу, сопровождаемый сияющим Аркадием Николаевичем. Сделав несколько общих поклонов, незнакомец быстро прошел вместе с Рудневым в кабинет, но Юрий слышал, как он говорил на ходу о чем-то просившему его хозяину:

– Пожалуйста, добрейший мой Аркадий Николаевич, не просите. Вы знаете, как мне больно вас огорчать отказом...

– Ну хоть что-нибудь, Антон Григорьевич. И для меня и для детей это будет навсегда историческим событием, – продолжал просить хозяин.

В это время Юрия попросили играть вальс, и он не услышал, что ответил тот, кого называли Антоном Григорьевичем. Он играл поочередно вальсы, польки и кадрили, но из его головы не выходило царственное лицо необыкновенного гостя. И тем более он был изумлен, почти испуган, когда почувствовал на себе чей-то взгляд, и, обернувшись вправо, он

увидел, что Антон Григорьевич смотрит на него со скучающим и нетерпеливым видом и слушает, что ему говорит на ухо Руднев.

Юрий понял, что разговор идет о нем, и отвернулся от них в смущении, близком к непонятному страху. Но тотчас же, в тот же самый момент, как ему казалось потом, когда он уже взрослым проверял свои тогдашние ощущения, над его ухом раздался равнодушно-повелительный голос Антона Григорьевича:

– Сыграйте, пожалуйста, еще раз рапсодию № 2.

Он заиграл, сначала робко, неуверенно, гораздо хуже, чем он играл в первый раз, но понемногу к нему вернулись смелость и вдохновение.

Присутствие того, властного и необыкновенного, человека почему-то вдруг наполнило его душу артистическим волнением и придало его пальцам исключительную гибкость и послушность. Он сам чувствовал, что никогда еще не играл в своей жизни так хорошо, как в этот раз, и, должно быть, не скоро будет еще так хорошо играть.

Юрий не видел, как постепенно прояснялось хмурое чело Антона Григорьевича и как смягчалось мало-помалу строгое выражение его губ, но когда он кончил при общих аплодисментах и обернулся в ту сторону, то уже не увидел этого привлекательного и странного человека. Зато к нему подходил с многозначительной улыбкой, таинственно подымая вверх брови, Аркадий Николаевич Руднев.

– Вот что, голубчик Азагаров, – заговорил почти шепотом Аркадий Николаевич, – возьмите этот конвертик, спрячьте в карман и не потеряйте, – в нем деньги. А сами идите сейчас же в переднюю и одевайтесь. Вас довезет Антон Григорьевич.

– Но ведь я могу еще хоть целый вечер играть, – возразил было мальчик.

– Тсс!.. – закрыл глаза Руднев. – Да неужели вы не узнали его? Неужели вы не догадались, кто это?

Юрий недоумевал, раскрывая все больше и больше свои огромные глаза. Кто же это мог быть, этот удивительный человек?

– Голубчик, да ведь это Рубинштейн. Понимаете ли, Антон Григорьевич Рубинштейн! И я вас, дорогой мой, от души поздравляю и радуюсь, что у меня на елке вам совсем случайно выпал такой подарок. Он заинтересован вашей игрой...

Реалист в поношенном мундире давно уже известен теперь всей России как один из талантливейших композиторов, а необычайный гость с царственным лицом еще раньше успокоился навсегда, от своей бурной, мятежной жизни, жизни мученика и триумфатора. Но никогда и никому Азагаров не передавал тех священных слов, которые ему говорил, едучи с ним в санях, в эту морозную рождественскую ночь, его великий учитель.

*1900*



# А. И. Куприн

## Бедный принц



### I

«Замечательно умно! — думает сердито девятилетний Дания Иевлев, лежа животом на шкуре белого медведя и постукивая каблуком о каблук поднятых кверху ног. — Замеча-

тельно! Только большие и могут быть такими притворщиками. Сами заперли меня в темную гостиную, а сами развлекаются тем, что увешивают елку. А от меня требуют, чтобы я делал вид, будто ни о чем не догадываюсь. Вот они какие – взрослые!»

На улице горит газовый фонарь и золотит морозные разводы на стеклах, и, скользя сквозь листья латаний и фикусов, стелет легкий золотистый узор на полу. Слабо блестит в полутьме изогнутый бок рояля.

«Да и что веселого, по правде сказать, в этой елке? – продолжает размышлять Даня. – Ну, придут знакомые мальчики и девочки и будут притворяться, в угоду большим, умными и воспитанными детьми... За каждым гувернантка или какая-нибудь старенькая тетя... Заставят говорить все время по-английски... Затеют какую-нибудь прескучную игру, в которой непременно нужно называть имена зверей, растений или городов, а взрослые будут вмешиваться и поправлять маленьких. Велят ходить цепью вокруг елки и что-нибудь петь и для чего-то хлопать в ладоши; потом все усядутся под елкой, и дядя Ника прочитает вслух ненатуральным, актерским, «давлучим», как говорит Сониная няня, голосом рассказ о бедном мальчике, который замерзает на улице, глядя на роскошную елку богача. А потом подарят готовальню, глобус и детскую книжку с картинками... А коньков или лыж уж наверно не подарят... И пошлют спать.

Нет, ничего не понимают эти взрослые... Вот и папа... он

самый главный человек в городе и, конечно, самый ученый... недаром его называют городской головой... Но и он мало чего понимает. Он до сих пор думает, что Даня маленький ребенок, а как бы он удивился, узнав, что Даня давным-давно уже решил стать знаменитым авиатором и открыть оба полюса. У него уже и план летающего корабля готов, нужно только достать где-нибудь гибкую стальную полосу, резиновый шнур и большой, больше дома, шелковый зонтик. Именно на таком аэроплане Даня чудесно летает по ночам во сне».

Мальчик лениво встал с медведя, подошел, волоча ноги, к окну, подышал на фантастические морозные леса из пальм, потер рукавом стекло. Он худощавый, но стройный и крепкий ребенок. На нем коричневая из рубчатого бархата курточка, такие же штанишки по колено, черные гетры и толстые штиблеты на шнурках, отложной крахмальный воротник и белый галстук. Светлые, короткие и мягкие волосы расчесаны, как у взрослого, английским прямым пробором. Но его милое лицо мучительно-бледно, и это происходит от недостатка воздуха: чуть ветер немного посильнее или мороз больше шести градусов, Даню не выпускают гулять. А если и поведут на улицу, то полчаса перед этим укутывают: гамаши, меховые ботики, теплый оренбургский платок на грудь, шапка с наушниками, башлычок, пальто на гагачьем пуху, беличьи перчатки, муфта... опротивеет и гулянье! И непременно ведет его за руку, точно маленького, длинная мисс Джернерс со своим красным висячим носом, поджатым прыща-

вым ртом и рыбьими глазами. А в это время летят вдоль тротуара на одном деревянном коньке веселые, краснощекие, с потными счастливыми лицами, уличные мальчишки, или катают друг друга на салазках, или, отломив от водосточной трубы сосульку, сочно, с хрустением жуют ее. Боже мой! Хотя бы раз в жизни попробовать сосульку. Должно быть, изумительный вкус. Но разве это возможно! «Ах, простуда! Ах, дифтерит! Ах, микроб! Ах, гадость!»

«Ох, уж эти мне женщины! – вздыхает Даня, серьезно повторяя любимое отцовское восклицание. – Весь дом полон женщинами – тетя Катя, тетя Лиза, тетя Нина, мама, англичанка... женщины, ведь это те же девчонки, только старые... Ахают, суетятся, любят целоваться, всего пугаются – мышей, простуды, собак, микробов... И Даню тоже считают точно за девочку... Это его-то! Предводителя команчей, капитана пиратского судна, а теперь знаменитого авиатора и великого путешественника! Нет! Вот назло возьму, насушу сухарей, отолью в пузырек папиного вина, скоплю три рубля и убегу тайком юнгой на парусное судно. Денег легко собрать. У Дани всегда есть карманные деньги, предназначенные на дела уличной благотворительности».

Нет, нет, все это мечты, одни мечты... С большими ничего не поделаешь, а с женщинами тем более. Сейчас же схватятся и отнимут. Вот нянька говорит часто: «Ты наш принц». И правда, Даня, когда был маленьким, думал, что он – волшебный принц, а теперь вырос и знает, что он бедный, несчаст-

ный принц, заколдованный жить в скучном и богатом царстве.

## II

Окно выходит в соседний двор. Станный, необычный огонь, который колеблется в воздухе из стороны в сторону, поднимается и опускается, исчезает на секунду и опять показывается, вдруг остро привлекает внимание Дани. Продышав ртом на стекле дыру побольше, он принакает к ней глазами, закрывшись ладонью, как щитом, от света фонаря. Теперь на белом фоне свежего, только что выпавшего снега он ясно различает небольшую, тесно сгрудившуюся кучку ребятшек. Над ними на высокой палке, которой не видно в темноте, раскачивается, точно плавает в воздухе, огромная разноцветная бумажная звезда, освещенная изнутри каким-то скрытым огнем.

Даня хорошо знает, что все это – детвора из соседнего бедного и старого дома, «уличные мальчишки» и «дурные дети», как их называют взрослые: сыновья сапожников, дворников и прачек. Но Данино сердце холодеет от зависти, восторга и любопытства. От няньки он слышал о местном древнем южном обычае: под Рождество дети в складчину устраивают звезду и вертеп, ходят с ними по домам – знакомым и незнакомым, – поют колядки и рождественские кантики и получают за это в виде вознаграждения ветчину, колбасу,

пирог и всякую медную монету.

Безумно-смелая мысль мелькает в голове Дани, – настолько смелая, что он на минуту даже прикусывает нижнюю губу, делает большие, испуганные глаза и съезживается. Но разве в самом деле он не авиатор и не полярный путешественник? Ведь рано или поздно придется же откровенно сказать отцу: «Ты, папа, не волнуйся, пожалуйста, а я сегодня отправляюсь на своем аэроплане через океан». Сравнительно с такими страшными словами, одеться потихоньку и выбежать на улицу – сущие пустяки. Лишь бы только, на его счастье, старый толстый швейцар не торчал в передней, а сидел бы у себя в каморке под лестницей.

Пальто и шапку он находит в передней ощупью, возясь бесшумно в темноте. Нет ни гамаш, ни перчаток, но ведь он только на одну минутку! Довольно трудно справиться с американским механизмом замка. Нога стукнулась о дверь, гул пошел по всей лестнице. Слава Богу, ярко освещенная передняя пуста. Задержав дыхание, с бьющимся сердцем, Дани, как мышь, проскальзывает в тяжелые двери, едва приотворив их, и вот он на улице! Черное небо, белый, скользкий, нежный, скрипящий под ногами снег, беготня света и теней под фонарем на тротуаре, вкусный запах зимнего воздуха, чувство свободы, одиночества и дикой смелости – все как сон!..

### III

«Дурные дети» как раз выходили из калитки соседнего дома, когда Даня выскочил на улицу. Над мальчиками плыла звезда, вся светившаяся красными, розовыми и желтыми лучами, а самый маленький из колядников нес на руках освещенный изнутри, сделанный из картона и разноцветной папиросной бумаги домик – «вертеп Господень». Этот малыш был не кто иной, как сын иевлевского кучера. Даня не знал его имени, но помнил, что этот мальчуган нередко вслед за отцом с большой серьезностью снимал шапку, когда Дане случалось проходить мимо каретного сарая или конюшни.

Звезда поравнялась с Даней. Он нерешительно посопел и сказал баском:

– Господа, примите и меня-а-а...

Дети остановились. Помолчали немного. Кто-то сказал сиплым голосом:

– А на кой ты нам ляд?!

И тогда все заговорили разом:

– Иди, иди... Нам с тобой не велено водиться...

– И не треба...

– Тоже ловкий... мы по восьми копеек сложились...

– Хлопцы, да это же иевлевский паныч. Гаранька, это – ваш?..

– Наш!... – с суровой стыдливостью подтвердил мальчиш-

ка кучера.

– Проваливай! – решительно сказал первый, осипший мальчик. – Нема тут тебе компании...

– Сам проваливай, – рассердился Даня, – здесь улица моя, а не ваша!

– И не твоя вовсе, а казенная.

– Нет, моя. Моя и папина.

– А вот я тебе дам по шее, – тогда узнаешь, чья улица...

– А не смеешь!.. Я папе пожалуюсь... А он тебя высекает...

– А я твоего папу ни на столечко вот не боюсь... Иди, иди, откудова пришел. У нас дело товарисское. Ты небось денег на звезду не давал, а лезешь...

– Я и хотел вам денег дать... целых пятьдесят копеек, чтобы вы меня приняли... А теперь вот не дам!..

– И все ты врешь!.. Нет у тебя никаких пятьдесят копеек.

– А вот нет – есть!..

– Покажи!.. Все ты врешь...

Даня побренчал деньгами в кармане.

– Слышишь?..

Мальчики замолчали в раздумье. Наконец сиплый высморкался двумя пальцами и сказал:

– Ну-к что ж... Давай деньги – иди в компанию. Мы думали, что ты так, на шермака хочешь!.. Петь можешь?..

– Чего?..

– А вот «Рождество твое, Христе Боже наш»... колядки еще тоже...



– Могу, – сказал решительно Даня.

## IV

Чудесный был этот вечер. Звезда останавливалась перед освещенными окнами, заходила во все дворы, спускалась в подвалы, лазила на чердаки. Остановившись перед дверью, предводитель труппы – тот самый рослый мальчишка, который недавно побранился с Даней, – начинал сиплым и гнусавым голосом:

Рождество твое, Христе Боже наш...

И остальные десять человек подхватывали вразброд, не в тон, но с большим воодушевлением:

Воссия мирови свет разума...

Иногда дверь отворялась, и их пускали в переднюю. Тогда они начинали длинную, почти бесконечную колядку о том, как шла царевна на крутую гору, как упала с неба звезда-красна, как Христос родился, а Ирод сомутился. Им выносили отрезанное щедрой рукой кольцо колбасы, яиц, хлеба, свиного студня, кусок телятины. В другие дома их не пускали, но высылали несколько медных монет. Деньги прятались предводителем в карман, а съестные припасы склады-

вались в один общий мешок. В иных же домах на звуки пения быстро распахивались двери, выскакивала какая-нибудь рыхлая, толстая баба с веником и кричала грозно:

– Вот я вас, лайдаки, голодранцы паршивые... Гэть!.. Кышь до дому!

Один раз на них накинулся огромный городской, закутанный в остроконечный башлык, из отверстия которого торчали белые, ледяные усы.

– Що вы тут, стрекулисты, шляетесь?.. Вот я вас в участок!.. По какому такому праву?.. А?..

И он затопал на них ногами и зарычал зверским голосом.

Как стоя воробьев после выстрела, разлетелись по всей улице маленькие христославщики. Высоко прыгала в воздухе, чертя огненный след, красная звезда. Дане было жутко и весело скакать галопом от погони, слыша, как его штиблеты стучат, точно копыта дикого мустанга, по скользкому и неверному тротуару. Какой-то мальчишка, в шапке по самые уши, перегоняя, толкнул его неловко боком, и оба с разбега ухнули лицом в высокий сугроб. Снег сразу набился Дане в рот и в нос. Он был нежен и мягок, как холодный невесомый пух, и прикосновение его к пылавшим щекам было свежо, щекотно и сладостно.

Только на углу мальчишки остановились. Городовой и не думал за ними гнаться.

Так они обошли весь квартал. Заходили к лавочникам, к подвальным жителям, в дворницкие. Благодаря тому, что

выхоленное лицо и изящный костюм Дани обращали общее внимание, он старался держаться позади. Но пел он, кажется, усерднее всех, с разгоревшимися щеками и блестящими глазами, опьяненный воздухом, движением и необыкновенностью этого ночного бродяжничества. В эти блаженные, веселые, живые минуты он совершенно искренно забыл и о позднем времени, и о доме, и о мисс Дженерс, и обо всем на свете, кроме волшебной колядки и красной звезды. И с каким наслаждением ел он на ходу кусок толстой холодной малороссийской колбасы с чесноком, от которой мерзли зубы. Никогда в жизни не приходилось ему есть ничего более вкусного!

И потому при выходе из булочной, где звезду угостили теплыми витушками и сладкими крендельками, он только слабо и удивленно ахнул, увидя перед собою нос к носу тетю Нину и мисс Дженерс в сопровождении лакея, швейцара, няньки и горничной.

– Слава тебе, Господи, нашелся наконец!.. Боже мой, в каком виде! Без калош и без башлыка! Весь дом с ног сбился из-за тебя, противный мальчишка!

Славильщиков давно уже не было вокруг. Как недавно от городского, так и теперь они прыснули в разные стороны, едва только почуяли опасность, и вдали слышался лишь дробный звук их торопливых ног.

Тетя Нина – за одну руку, мисс Дженерс – за другую повели беглеца домой. Мама была в слезах – Бог знает, какие

мысли приходили ей за эти два часа, когда все домашние потеряв головы бегали по всем закоулкам дома, по соседям и по близким улицам. Отец напрасно притворялся разгневанным и суровым и совсем неудачно скрывал свою радость, увидев сына живым и невредимым. Он не меньше жены был взволнован исчезновением Дани и уже успел за это время поставить на ноги всю городскую полицию.

С обычной прямоотой Даня подробно рассказал свои приключения. Ему пригрозили назавтра тяжелым наказанием и послали переодеться.

Он вышел к своим маленьким гостям вымытый, свежий, в новом красивом костюме. Щеки его горели от недавнего возбуждения, и глаза весело блестели после мороза.

Очень скучно было притворяться благовоспитанным мальчиком, с хорошими манерами и английским языком, но, добросовестно заглаживая свою недавнюю вину, он ловко шаркал ножкой, целовал ручку у пожилых дам и снисходительно развлекал самых маленьких малышей.

— А ведь Дане полезен воздух, — сказал отец, наблюдавший за ним издали, из кабинета. — Вы дома его слишком много держите взаперти. Посмотрите, мальчик пробегался, и какой у него здоровый вид! Нельзя держать мальчика все время в вате.

Но дамы так дружно накинулись на него и наговорили сразу такую кучу ужасов о микробах, дифтеритах, ангинах и о дурных манерах, что отец только замахал руками и восклик-

нул, весь сморщившись:

– Довольно, довольно! Будет... будет... Делайте, как хотите... Ох, уж эти мне женщины!..

## В. Я. Брюсов Дитя и безумец



Маленькая Катя спросила:

- Мама, что сегодня за праздник? Мать отвечала:
- Сегодня родится Младенец Христос.
- Тот, Который за всех людей пролил кровь?
- Да, девочка.
- Где же Он родится?
- В Вифлееме. Евреи воображали, что Он придет как

царь, а Он родился в смиренной доле. Ты помнишь картинку: Младенец Христос лежит в яслях в вертепе, так как Святому Семейству не нашлось приюта в гостинице? И туда приходили поклоняться Младенцу волхвы и пастухи.

Маленькая Катя думала: «Если Христос пришел спасти всех людей, почему же пришли поклониться Ему только волхвы и пастухи? Почему не идут поклониться Ему папа и мама, ведь Он пришел и их спасти?» Но спросить обо всем этом Катя не смела, потому что мама была строгая и не любила, когда ее долго расспрашивают, а отец и совсем не терпел, чтобы его отрывали от книг. Но Катя боялась, что Христос прогневается на папу и маму за то, что они не пришли поклониться Ему. Понемногу в ее голове стал складываться план, как пойти в Вифлеем самой, поклониться Младенцу и просить прощения за папу и маму.

В восемь часов Катю послали спать. Мама раздела ее сама, так как няня еще не вернулась от всенощной. Катя спала одна в комнате. Отец ее находил, что надо с детства приучать не бояться одиночества, темноты и прочих, как он говорил, глупостей. Катя твердо решила не засыпать, но, как всегда с ней бывало, это ей не удалось. Она много раз хотела не спать и подсмотреть, все ли остается ночью, как днем, стоят ли дома на улицах, или они на ночь исчезают, — но всегда засыпала раньше взрослых. Так случилось и сегодня. Несмотря на все ее старание не спать, глаза слиплись сами собой, и она забылась.

Ночью, однако, она вдруг проснулась. Словно ее разбудил кто-то. Было темно и тихо. Только из соседней комнаты слышалось сонное дыхание няни. Катя сразу вспомнила, что ей надо идти в Вифлеем. Желание спать прошло совершенно. Она неслышно поднялась и начала, торопясь, одеваться. Обыкновенно ее одевала няня, и ей очень трудно было натянуть чулки и застегнуть пуговочки сзади. Наконец, одевшись, она на цыпочках пробралась в переднюю. По счастью, ее шубка висела так, что она могла достать ее, встав на скамейку. Катя надела свою шубку из гагачьего пуху, гамашу, ботинки и шапку с наушниками. Входная дверь была с английским замком, и Катя умела отпирать ее без шума.

Катя вышла, проскользнула мимо спящего швейцара, отперла наружную дверь, так как ключ был в замке, и очутилась на улице.

Было морозно, но ясно. Свет фонарей искрился на чистом, чуть-чуть заледеневшем снеге. Шаги раздавались в тишине четко.

На улице никого не было. Катя прошла ее до угла и неудачу повернула направо. Она не знала, куда идти. Надо было спросить. Но первый встретившийся ей господин был так угрюм, так торопился, что она не посмела. Господин посмотрел на нее из своего поднятого мехового воротника и, не сказав ни слова, зашагал дальше. Вторым встречным был пьяный мастеровой. Он что-то крикнул Кате, протянул к ней руки, но, когда она в страхе отбежала в сторону, тотчас забыл



про нее и пошел вперед, затагнув песню.

Наконец Катя почти наткнулась на высокого старика, с седой бородой, в белой папаше и в дохе. Старик, увидав девочку, остановился. Катя решила спросить его.

– Скажите, пожалуйста, как пройти в Вифлеем?

– Да ведь мы в Вифлееме, – отвечал старик.

– Разве? А где же тот вертеп, где в яслях лежит Младенец Христос?

– Вот я иду туда, – отвечал старик.

– Ах, как хорошо, не будете ли добры проводить и меня? Я не знаю дороги, а мне очень нужно поклониться Младенцу Христу.

– Пойдем, я тебя проведу.

Говоря так, старик взял девочку за руку и повел ее быстро. Катя старалась поспевать за ним, но ей это было трудно.

– Когда мы торопимся, – решила она наконец сказать, – мама берет извозчика.

– Видишь ли, девочка, – отвечал старик, – у меня нет денег. У меня все отняли книжники и фарисеи. Но давай я понесу тебя.

Старик поднял Катю сильными руками и, держа ее как перышко, зашагал дальше. Катя видела перед собой его всклооченную седую бороду.

– Кто же вы такой? – спросила она.

– А я – Симеон Богоприимец. Видишь ли, я был в числе семидесяти толковников. Мы переводили Библию. Но, дой-

дя до стиха «Се дева во чреве приемлет...», я усомнился. И за это должен жить, доколе же сказанное не исполнится. Доколе я не возьму Сына Девы на руки, мне нельзя умереть. А книжники и фарисеи стерегут меня зорко.

Катя не совсем понимала слова старика. Но ей было тепло, так как он запахнул ее дохой. От зимнего воздуха у нее кружилась голова. Они все шли по каким-то пустынным улицам, ряды фонарей бесконечно уходили вперед, суживаясь в точку, и Катя не то засыпала, не то только закрывала глаза.

Старик дошел до деревянного домика в предместье и сказал Кате:

– Здесь живет слуга Ирода, но он мой друг, и я войду.

В окнах был еще свет. Старик постучался. Послышались шаги, скрип ключа, дверь отворилась. Старик внес Катю в темную переднюю. Перед ними в полном изумлении стоял немолодой уже человек в синих очках.

– Семен, – сказал он, – это ты? Как ты попал сюда?

– Молчи. Я обманул книжников и фарисеев и темничных сторожей. Сегодня праздничная ночь, они менее бдительны. Вот я и убежал.

– А шуба у тебя чья?

– Я взял у смотрителя. Но это я возвращу. Я еще вернусь. Пусть мучают, но мне надо было пойти, я должен увидеть Христа, иначе мне нельзя умереть.

– Но что же это за девочка? – воскликнул господин в очках, который лишь теперь рассмотрел Катю.

– Она тоже идет в вертеп.

– Да, мне надо поклониться Младенцу Христу, – вставила Катя.

Господин в очках покачал головой. Он взял Катю от старика, отнес ее в соседнюю комнату и передал какой-то старушке. Катя еще говорила, что ей надо идти, но она так устала и измучена, что не очень сопротивлялась, когда ее раздели, натерли вином и уложили в теплую постель. Она уснула тотчас.

Старика тоже уложили.

На другой день через участок и родители отыскиали Катю, и смотрители сумасшедшего дома – своего бежавшего пациента. Дитя и безумец – оба шли поклониться Христу. Благо тому, кто и сознательно жаждет того же.

*1901*

# Г. С. Петров

## Дары Артабана



В дни Ирода царя, когда в убогой пещере близ Вифлеема родился Спаситель мира Иисус, в восточных странах на небе вдруг загорелась громадная, невиданная ранее звезда. Звезда сияла ярким, блестящим светом и медленно, но постоянно двигалась в одну сторону, туда, где находилась еврейская земля. Звездочеты, или, как их называли у них на родине, маги, волхвы, обратили внимание на новое светило.

По их мнению, это было знамение Божие, что где-то родился давно предсказанный в еврейских книгах Великий Царь, Избавитель людей от зла, Учитель новой праведной жизни. Некоторые из них – особенно тосковавшие о Божьей правде на земле и скорбевшие, что в людях так сильно беззаконие, решили идти искать рожденного Царя, чтобы поклониться и послужить Ему. Где его найдут, точно не знали; может быть, придется ехать долго, а дороги были в ту пору опасные, так они и решили сначала в определенное время собраться всем в условном месте, а затем общим караваном направиться по указанию звезды на поиски рожденного Великого Царя.

Вместе с другими волхвами собрался на поклонение и великий персидский мудрец Артабан. Он продал все свои имения, богатый дом в столице и на вырученные деньги купил три драгоценных камня: сапфир, рубин и жемчужину. Громадной цены стоили эти камни; целое сокровище было заплачено за них, зато и красота их была редкостной. Один сиял, как частица голубого неба в ясную звездную ночь; другой горел ярче пурпурной зари при восходе солнца; третий белизною превосходил снежную вершину горы. Все это, вместе с сердцем, полным самой горячей, беззаветной любви, Артабан думал сложить у ног рожденного Царя истины и добра.

Собрал в своем доме Артабан в последний раз близких друзей, простился с ними и отправился в путь. До места сбора надо было ехать несколько дней, но Артабан не боялся опоздать. Конь под ним был борзый и крепкий, время он вы-

считал точно и каждый день исправно проезжал необходимый конец. В последние сутки ему оставалось несколько десятков верст, и он хотел ехать всю ночь, чтобы засветло прибыть к назначенному месту.

Верный конь бодро ступал под ним; ночной ветерок навевал прохладу; над головой, в бесконечной дали небосклона, как яркая лампада пред престолом Бога, сияла новая звезда.

– Вот он знак Божий! – говорил себе Артабан, не сводя глаз со звезды. – Великий Царь идет к нам с неба, и я скоро, Господи, увижу Тебя. Быстрее, мой друг!

Прибавь еще шагу! – подбадривает он своего коня, ласково трепля его по гриве.

И конь наддавал ходу; громко и часто стучали его копыта по дороге среди пальмового леса. Мрак начинал редеть; кое-где слышалось чириканье просыпающихся птиц. Чувалась близость наступающего утра. Вдруг конь остановился, захрапел, стал пятиться назад. Артабан пристально взгляделся в дорогу и увидел распростертого человека. Он быстро слез на землю, подошел к лежавшему и осмотрел. То был еврей, обессиленный страшным припадком ужасной в тех местах лихорадки. Его можно было бы принять по виду за мертвеца, если бы не слабый, едва слышный стон, который изредка протяжно вырывался из запекшихся уст.

Артабан задумался: ехать мимо, торопиться к сборищу, оставить больного – не позволяет совесть; а остаться с евреем, чтобы поднять его на ноги, надо потратить много часов;

опоздаешь к условленному часу, уедут без тебя.

– Что делать? – спрашивал себя Артабан. – Еду, – решил было он и занес даже ногу в стремя, но больной, словно чуя, что его покидает последняя помощь, застонал так тяжело, что его стон болью отдался в сердце волхва.

– Боже великий, – взмолился он. – Ты знаешь мои мысли, Ты знаешь, как я стремлюсь к Тебе; направь меня на правый путь. Не Твой ли голос любви говорит в моем сердце? Я не могу проехать мимо; я должен помочь несчастному еврею.

С этими словами волхв подошел к больному, развязал ему одежду, принес из соседнего ручья воды, освежил ему лицо и запекшиеся уста, достал из притороченного к седлу тюка какие-то лекарства, которых там был большой запас, подмешал к вину и влил в рот еврею; растирал ему грудь и руки и так целые часы провел над больным.

Заря давно миновала, солнце уже высоко поднялось над лесом; время близилось к полудню. Еврей пришел в себя, поднялся на ноги и не знал, – как благодарить доброго незнакомца.

– Кто ты? – спрашивал Артабана еврей. – Скажи, за кого я и вся моя семья будем молить Бога до последних наших дней? И почему лицо твое так печально? Какое горе сокрушает тебя?

Артабан с грустью поведал, кто он, куда едет и что теперь он, наверное, опоздал.

– Мои товарищи, конечно, уехали одни, – говорил он, – и

я не найду, не увижу желанного Царя.

Лицо еврея озарилось радостью.

– Не грусти, благодетель. Я могу тебе хоть немногим отплатить за твое добро. В священных книгах сказано, что обещанный от Бога Царь правды рождается в городе Вифлееме. Пусть твои друзья уехали; ты поезжай в Вифлеем и, если Мессия родился, найдешь Его там.

Еврей простился, еще раз поблагодарил и пошел своей дорогой. Артабан вернулся назад: одному нечего было и думать ехать через пустыню, – надо было взять слуг для охраны, накупить верблюдов, забрать провизии, запастись водой. Прошла неделя. Пришлось продать один камень, чтобы снарядить караван, но Артабан этим не очень печалился: оставалось еще два камня. Главное, не опоздать бы к Царю; и он торопит слуг, спешит изо всех сил. Вот, наконец, и Вифлеем. Усталый, запыленный, но счастливый и веселый подъезжает он к первому же домику, быстро входит внутрь и осыпает хозяйку вопросами:

– Не были ли здесь, в Вифлееме, пришедшие люди с Востока, к кому они обращались и где они теперь?

Хозяйка – молодая женщина – кормила грудью ребенка и сначала смутилась видом незнакомца, потом успокоилась и рассказала, что несколько дней тому назад приходили сюда какие-то чужеземцы, отыскиали Марию из Назарета и принесли Ее Младенцу богатые дары. Куда они делись – неизвестно; а в ту же ночь скрылись из Вифлеема и Мария с Мла-



денцем и Иосифом.

– В народе толкуют, что они ушли в Египет, что Иосифу был сон и что Господь велел им удалиться отсюда.

Пока мать говорила, ребенок сладко заснул, и чистая улыбка играла на его прекрасном и невинном лице. Артабан не успел еще обдумать, что ему делать, как вдруг на улице послышались дикие крики, лязг оружия и надрывающий душу женский плач. Полураздетые, простоволосые женщины с искаженными от ужаса лицами, бежали куда-то вдоль селения, неся своих малюток, и вопили: «Спасайтесь! Солдаты Ирода убивают наших детей».

Лицо молодой женщины побледнело, глаза расширились. Прижав к себе спящего крошку, она могла сказать только:

– Спаси, спаси ребенка! Спаси его, и Бог спасет тебя.

Артабан, не помня себя, бросился к двери; там, за порогом, стоял уже начальник отряда, а за ним виднелись зверские лица воинов, державших мечи, окрашенные кровью невинных младенцев. Рука Артабана как-то сама рванулась к груди; он быстро достал из-за пазухи мешок, выхватил драгоценный камень и подал начальнику отряда.

– Возьми камень и иди отсюда; оставь женщину и дитя в покое.

Тот отроду не видал такой драгоценности, жадно схватил камень и быстро увел своих воинов в другое место доканчивать страшное дело. Женщина пала перед Артабаном на колени и голосом, идущим от сердца, говорила:

– Да благословит тебя Бог за моего ребенка. Ты ищешь Царя правды, любви и добра, да воссияет пред тобою Его лик, и да взирает Он на тебя с тою любовью, с какою я теперь смотрю на тебя.

Бережно поднял ее на ноги Артабан и слезы не то радости, не то грусти текли по его щекам. «Боже истины, прости меня! Ради этой женщины и ее ребенка я отдал предназначенный Тебе камень. Увижу ли я когда-нибудь Твой лик? И здесь я опоздал опять. Пойду вслед за Тобою в Египет».

И долго бедный волхв ходил, отыскивая Царя правды; прошел он много стран, много перевидал разного народу, а искомого Царя найти не мог. И больно сжималось его сердце, не раз он плакал горькими слезами. «Господи! – думалось ему, – сколько везде горестей, муки, несчастий! Скоро ли Ты явишь Себя, облегчишь людям жизнь?»

Что мог, он делал сам: лечил больных, помогал бедным (от продажи первого камня у него остались большие деньги), утешал несчастных, навещал узников, и годы его за этими трудами убегали так быстро, как бежит челнок ткача по вырабатываемой ткани. Последнюю жемчужину он бережно хранил у сердца, надеясь хотя бы ее поднести в дар Царю, когда Его отыщет.

Прошло тридцать три года, как Артабан оставил родину. Стан его сгорбился, волосы побелели, глаза померкли, руки и ноги ослабели, а в сердце по-прежнему горела любовь к Тому, Кого он искал с давних пор. И прослышал тут преста-

рельй волхв, что в Иудее появился Посланник Божий, что Он совершает дивные дела, воскрешает мертвых, а отверженных грешников и отчаянных злодеев делает святыми.

Радостно забилося усталое сердце Артабана. «Теперь, – думает он, – я найду Тебя и послужу Тебе».

Приходит в Иудею; весь народ идет в Иерусалим на праздник Пасхи. Там и Сам Спаситель, Которого чает видеть волхв.

С толпами богомольцев достигает священного города Артабан и видит на улицах большое движение: людской поток куда-то неудержимо льется; все бегут, друг друга обгоняют.

– Куда это спешат люди? – спрашивает Артабан.

– На Голгофу! Так за городом называется холм. Там сегодня вместе с двумя разбойниками распинают Иисуса из Назарета, Который называл себя Сыном Божиим, Царем Иудейским.

Упал на землю Артабан и горько зарыдал.

– Опять опоздал. Не дано мне видеть Тебя, Господи! Не привелось и послужить Тебе. А, впрочем, может быть еще не совсем поздно, подойду к Его мучителям, предложу им мою жемчужину, и, быть может, они возвратят Ему свободу и жизнь.

Поднялся Артабан и, как мог, поспешил за толпой на Голгофу. На одном из перекрестков ему преградил дорогу отряд солдат. Воины тащили девушку редкой красоты в тюрьму. Она увидала волхва, по одежде признала в нем перса и

ухватилась за край его одежды.

– Сжался надо мною! – молила она. – Освободи меня. Я с тобой из одной страны.

Мой отец приехал сюда по торговым делам, привез с собой меня, заболел и умер. За долги отца меня хотят продать в рабство, обречь на позор. Спаси меня! Избавь от бесчестья, молю тебя, спаси!

Задрожал старый волхв. Прежняя борьба, как в пальмовой роще при встрече с больным евреем и в Вифлееме во время избияния детей, снова вспыхнула в сердце: сохранить ли камень для Великого Царя или отдать в помощь несчастной? Жалость к бедной невольнице взяла верх.

Достал Артабан с груди последнюю жемчужину и дал ее девушке:

– Вот тебе на выкуп, дочь моя. Тридцать три года я берег это сокровище для моего Царя. Видно, я не достоин поднести ему Дар.

Пока он говорил, небо заволокло тучами, среди дня тьма легла над землею; земля словно тяжело вздохнула, затряслась; загредел гром, молния прорезала небо от края до края; слышался треск; задрожали дома, стены покачнулись; дождем посыпались камни. Тяжелая черепица сорвалась с крыши и разбила голову старику.

Он повалился на землю и лежал бледный, истекая кровью. Девушка наклонилась к нему, чтобы помочь. Артабан зашевелил губами и стал что-то шепотом говорить; глаза его от-

крылись, засветились радостью, по лицу разлилась кроткая улыбка.

Казалось, умирающий видит кого-то незримого перед собою и беседует с ним. Девушка нагнулась близко к волхву и услышала, как он прерывающимся шепотом говорил:

— Господи! Да когда же я видел Тебя голодающим и накормил; когда видел жаждущим и напоил? Когда я приютил Тебя странником, одел нагого Тебя? Тридцать три года, блуждая из страны в страну, я искал Тебя и ни разу не видел Твоего лица, не мог послужить Тебе, моему Царю, на земле.

Старик замолк, грудь его тихо вздымалась. Сквозь нависшие тучи пробился луч солнца и осветил лицо волхва. Подул тихий ветерок, мягко шелестя волосами умирающего, и вместе с этим ветром, словно на крыльях его, откуда-то с выси донесся ласковый голос:

— Истинно говорю тебе: все, что ты сделал нуждающимся братьям твоим, ты сделал Мне.

Лицо Артабана преобразилось: на него легла печать величавого спокойствия и самой светлой, полной радости; он облегченно вздохнул всей грудью, благодарно поднял к небу свои очи и навеки почил. Кончились долгие странствования старого волхва; нашел, наконец, Артабан Спасителя, были приняты и его дары.

1903

# Л. Мальский

## В Рождественскую ночь



Приближались рождественские Святки. В редакциях газет между сотрудниками шли разговоры о писании рождественских рассказов. Обсуждались темы.

Движимый самолюбием, «этим могучим двигателем прогресса и цивилизации», я задумал написать какой-нибудь маленький рождественский рассказ.

Будучи рядовым газетным работником, я не чувствовал себя способным написать что-либо красивое и притом на тему чего-либо чудесного, что обыкновенно требуется для таких рассказов, так как в течение моей жизни ни со мною, ни с кем-либо из моих многочисленных знакомых никогда и ничего чудесного не произошло, и я уже давно перестал верить в чудеса.

Перебирая различные темы, я никак не мог остановиться ни на одной из них.

Одни казались мне столь незначительными, что ради них не стоило отнимать время на чтение его у читателей и этим лишать их части праздничного досуга. Другие же были давно использованы более крупными литературными силами, и мне, маленькому журнальному работнику, и в голову не приходило конкурировать с ними.

Дни проходили за днями, а я все еще никак не мог остановиться на каком-нибудь сюжете для рождественского рассказа, а главное, что во всех темах, приходивших мне в голову, не доставало самого необходимого – чуда какого-нибудь, ну хоть самого плохенького, но все же чуда.

Я потерял сон и аппетит и страшно мучился сознанием того, что я не сумею и не напишу рождественского рассказа.

Незаметно пробежала предпраздничная неделя, и наступил канун Рождества – сочельник.

Я бродил как во сне, придираясь и вымещая свои неудачи на близких мне людях.

Нервы мои окончательно развинтились, и я чувствовал, что без помощи чуда я не сумею написать что-либо к зава-  
trashнему номеру газеты.

Я сел за стол с намерением не вставать из-за него, пока не напишу рассказа, тем более необходимо было это сделать, что последний срок для сдачи его в редакцию наступил как раз в рождественскую полночь.

Чтобы никто не мешал мне, я запер двери своего кабинета и, сев к столу, приготовил бумагу, пододвинул к себе чернильницу и, взявшись за перо, по привычке, прежде всего наверху предполагавшегося рассказа написал свою фамилию, как это обыкновенно принято в редакциях газет.

Я в сотый раз задумался, силясь разобраться во всех темах, которые мне ранее приходили в голову, и не мог по-прежнему ни на одной из них сосредоточиться и продумать ее до конца. Лицо мое горело, и нервы напрягались и дрожали, как струны.

Страшное нервное напряжение и сильное переутомление сделали свое дело, и я заснул наконец, сидя за столом, с пером в руках, склонившись над чистым листом бумаги, крепким сном выздоравливающего человека.

Сколько времени я проспал, сказать не сумею, только вдруг вижу, дверь моего кабинета с силою распахнулась, и в комнату прямо с улицы ворвался холодный морозный воздух, за клубившийся в теплой комнате клубами густого пара.

Я оцепенел от неожиданности и сидел с широко раскры-



тыми глазами, не смея двинуться с места, как бы прикованный неестественной силою к стулу.

Вдруг я заметил, что из мало-помалу расходившегося по комнате пара отчетливо вырисовалась фигура старика с большой, белой как снег бородою и усами. Из-под густых, слегка опущенных седых бровей на меня в упор смотрели с лукавой усмешкой серые глаза старика. Сердце мое трепетало и усиленно билось в груди, как только что пойманная и посаженная в клетку птица или же как внезапно схваченный без вины на улице человек и посаженный в ужасную участковую клеть.

Лицо таинственного старика мне вовсе не внушало какой-либо ужас. Наоборот, оно показалось мне чересчур знакомым, и я старался припомнить, где я его видел.

Вдруг я заметил в руках моего ночного гостя маленькую елочку, сделанную из зеленой бумаги и украшенную разных цветов ленточками и блестящими нитями, какие обыкновенно бывают в руках рождественского деда, выставляемого перед рождественскими праздниками в окна магазинов игрушек.

– Рождественский дед! – вскрикнул невольно я.

– Ну да, – ответил он, и лицо его все озарилось широкой и доброй улыбкою.

Рот его слегка раскрылся, и из-за полных и красных губ сверкнули белизною прекрасные крепкие и широкие зубы.

– Ну да, дед и есть, – повторил он, – а ты думал кто? По-

ди, чай, еще испугался, – добавил он слегка насмешливым тоном.

На несколько мгновений воцарилось молчание. Я смотрел на него во все, что называется, глаза, думая: «Вот и тема для рассказа...»

Мой странный гость, оглядев комнату, отошел куда-то в угол и стал для меня не совсем ясным.

– Я пришел, – начал дед, – чтобы помочь тебе.

Голос старика звучал ясно и ласково. От этого голоса мне сразу как-то стало легко и радостно в душе, и я невольно почувствовал сердечное расположение к старику.

– Чудак ты, погляжу на тебя, – после короткой паузы начал снова дед. – Маяться, маяться, а из-за чего? Все из-за пустого каприза написать рождественский рассказ. Ну скажи, пожалуйста, кому он нужен, твой выдуманный, красивый рассказ? Разве мало ты написал в течение года не только мелких рассказов, но и страшных трагедий с кровавой гибелью неисчислимого количества людей, задавленных горем, повешенных, расстрелянных, сгоревших заживо в огне пожарищ, гниющих по тюрьмам и казематам крепостей. Разве все не трагедии, и притом не выдуманные, а правдивые и страшные, как сама жизнь эпохи, в которую ты живешь. Припомни только, что за этот год тобою уже написана тысяча тысяч драм человеческих жизней.

Помнишь ли ты выражение лица того несчастного портного, который, лишившись заработка, под крики и плач сво-

их трех голышей детишек и на глазах обезумевшей от страха и пережитого горя жены, не имея больше сил терпеть страдание голодных детей, которые, неминуемо обреченные жестокосердными людьми, должны погибнуть голодной смертью, вскрыл себе живот сапожным ножом, взятым напрокат у соседа сапожника, такого же горемыки, как и он сам, помнишь, как ты содрогнулся при виде этой ужасной драмы, и, расспрашивая соседа сапожника о драме портного, ты подумал о нем, еще живом: «Этот тоже недолго потянет свою лямку?»

А те тысячи отравившихся и застрелившихся, о которых ты писал ежедневно в твоей газете, а те несчастные, бывшие работниками, выброшенные той же людской жестокостью из теплых углов, за которые они не могли уже платить, так как не имели более работы, прямо на улицу, где в зимнюю стужу, сквозь дыры лохмотьев, покрывших их наготу, замораживал насмерть мороз, – разве это не драмы? Или тебе нужны романы с похождениями героев? Так и таких у тебя было немало, и с такими разнообразными завязками и развязками, иногда фатальными – с ядом и выстрелами, как роман биржевика Андреева, а иногда с веселым и смехотворным концом, как сказание о походе Ольги Штейн, Стесселя и компании, и пр., пр. Это тоже, брат, произведения и в своем роде освещают, как бенгальским красным огнем, весь ужас страданий целой страны, подавленной беззаконием, неправдой, гибкой судейской совестью, бесконечностью

всего этого... Оставь свои муки и брось думать о вымыслах. Ты видишь сам, что ничего страшнее и сверхъестественнее, чем сама жизнь, ты не напишешь.

Голос старика был теперь значительно глуше и доносился откуда-то издалека, самого его я уже не различал.

В квартире внезапно раздался резкий звук звонка, и я проснулся.

В комнате с опущенными шторами было темно, догоревшая лампа страшно чадила, не давая света.

Разбитый физически и морально, я поднялся с кресла и отворил дверь. Веселые лучи морозного и ясного утра сразу ослепили меня, а свежий воздух рассеял остатки кошмарного сна.

В прихожей стоял почтальон, принесший рождественские номера газет. Он, конечно, не преминул поздравить меня с праздником и, получив «по установлению», ушел, скривясь под тяжестью своей сумки, нагруженной никому не нужными визитными карточками и глупыми поздравлениями в стихах и прозе, торопясь разнести всю эту массу испорченной бумаги и не опоздать поздравить «счастливых» адресатов.

Раскрыв номер газеты, я был страшно поражен, увидав напечатанный этот рассказ, да притом за моей подписью.

Это уже было что-то сверхъестественное и чудесное, то есть все то, что требовалось для рождественского рассказа.

Уж не рождественский ли дед написал его вместо меня,

спросит читатель. Очень может быть. Это и для меня самого останется таинственной загадкой.

*1907*

**Д. Н. Мамин-Сибиряк**  
**Последняя треба**  
**(Рождественский рассказ)**

*Посвящается памяти Маруси*



# I

Рождественская заутреня была на исходе, когда в церковь торопливо вошел лесник Евтроп. Это был плечистый, высокий мужик с бородатым, угрюмым лицом. Он как-то сразу почувствовал себя неловко в этой толпе молящихся, – давно не бывал в церкви, да и совестно быть выше всех головой. Церковь показалась ему такой маленькой, точно она выросла в землю за время его отсутствия. Торопливо перекрестившись, лесник начал проталкиваться вперед.

– Куда прешь-то? – остановил его случившийся поблизости церковный староста, обходивший церковь с кружкой. – Ведь не в лес пришел...

– Парасковья-то... мне бы попа<sup>19</sup> Савелья... – бормотал смущенно лесник, глядя на старосту умоляющими глазами. – Значит, тово...

– Обождешь...

Лесник что-то хотел сказать еще, но только махнул рукой. Он почувствовал всем своим громадным телом, что его здесь все ненавидят. Да, ненавидят, несмотря ни на святое место, ни на церковную службу. Одни от него отвергивались, другие делали вид, что не узнали, третьи косились, и все ненави-

---

<sup>19</sup> На Севере в глухих лесных местностях слово «поп» не имеет никакого общего значения, – оно перешло сюда из Московской Руси и сохранилось в том смысле, в каком его употребляли при великих московских князьях.

дели, потому что он всем им чем-нибудь досадил. В маленькой деревянной церкви собрались жители нескольких соседних лесных деревень, съехавшиеся сюда встретить праздник. Всем так или иначе приходилось иметь дело с лесным кордоном, где царил суровый Евтроп, и у многих являлась не раз грешная мысль отправить лесника на тот свет. Очень уж люют до чужого добра.

В церкви было и жарко, и душно. По старинному обычаю бабы занимали левую сторону, а мужики правую. В спертом воздухе свечи горели красными пятнами. Приход был бедный, и даже в такой праздник маленькая церковь была освещена мало. Больше всего свеч стояло перед местным образом Богоматери, – это ставили бабы своей Усердной Заступнице. Старинный иконостас, прокопченный и с облупившейся кой-где позолотой, старенький дьячок на правом клиросе, два старых трапезника, старый староста у прилавка со свечами – все здесь было старое, бедное. Вышел на амвон говорить отпуст поп Савелий в старенькой ризе, – и какой поп – простец, а не поп. Лицо скуластое, глаза узкие, волосы лежали жиденькими косицами. Сколько ему было лет – трудно сказать, или, вернее, – лет не было. Бывают такие люди. Леснику показалось, что и поп Савелий посмотрел в его сторону враждебно.

Воспользовавшись перерывом в службе, лесник протискался вперед, к самому амвону. Толпа шушукалась, особенно бабы, но никто не расходился в ожидании обедни.



– Зачем сюды змея-то принесло? – слышался шепот за спиной лесника.

Но он не обернулся, а смело направился в алтарь, тяжело ступая по деревянному амвону. В пономарских дверях его грубо остановил старый трапезник.

– Куды прешь?..

– Мне бы попа Савелья... Значит, тово...

В этот момент вышел сам поп Савелий. Он был в новеньком люстриновом подряснике и такой же ряске.

– Чего тебе, Евтроп?.. – спросил поп Савелий, давая благословение громадному человеку.

– Жена помирает... неблагополучно разрешилась... значит, тово... – бормотал лесник со слезами в голосе. – С вечера мается и помереть не может... За тобой послала, потому хоть и баба, а христианская душа...

– Что же я поделаю, Евтроп: сейчас начинается обедня. Народ ждет. Съехались из дальних деревень. Вот кончу обедню, тогда и поеду.

– А ежели Парасковья-то помрет?..

– После обедни поезжай, поп... – загалдели окружавшие их мужики. – Тоже немало народу ждет... Не одна твоя Парасковья. Бабы живучи, обождет.

В голосах слышалось скрытое озлобление. Евтроп это чувствовал и посмотрел умоляющими глазами на попа Савелия.

– Помирает, говоришь? – спрашивал поп, перебирая полу

своей ряски. – Этакий грех... гм...

– Пластом лежит. Слезно молила привезти попа, потому смертный час пришел Парасковье... Как она маялась...

Голос Евтропа оборвался, и он кулаком вытер слезу. Поп Савелий опустил глаза и вздохнул. Как же быть-то в самом деле? Ему вдруг сделалось жаль этого громадного мужика, в котором говорило такое близкое горе... А там ждет умирающая последнего напутствия. Одна, в лесной избушке... считает минуты... прислушивается к каждому шороху... Поп Савелий обвел глазами свое духовное стадо и снова опустил глаза. Все были против лесника и не отпустят его, а идти против мира он не мог.

– Ах, какой грех... Так помирает твоя Парасковья? – повторял поп Савелий, поднимая глаза на Евтропа. – Кто же там, на кордоне?

– Да она не одна. Танька при ней. Восьмой год Таньке-то пошел в Петровки. Ну, мальчонко... Уж больно она маялась, пока Господь разрешил...

Наступила длинная пауза. Мужики угрюмо молчали, переминаясь с ноги на ногу. Евтроп смущенно перебирал в руках свой олений трюх и не двигался.

– Так уже, видно, тово... – заговорил поп Савелий, разглаживая бородку. – После обедни, значит... Главное: народ ждет. Сейчас к обедне будут благовестить, а после обедни и поедем. До кордона не меньше десяти верст будет.

Поп сделал знак старшему трапезнику, чтобы тот шел на

колокольню. Это движение испугало Евтропа. Он схватил попа Савелья за широкий рукав рясы и проговорил хриплым шепотом:

– Живые-то подождут, поп, а Парасковья помирает... ждет она...

Тут произошло что-то особенное. Старик трапезник пошел по левой бабьей стороне и точно завяз. Его не пускали ни взад ни вперед. Бабы окружили его живой стеной, как овцы. Старик пробовал раздвинуть толпу, размахивал руками, уговаривал, но все было напрасно.

– Да вы очумели, никак! – вступился староста, пробиваясь на выручку застрявшему трапезнику.

– А не твое дело! – отрезала ему ближайшая бабенка, отталкивая руками. – Попробовал бы сам бабью-то муку принять...

Это послужило сигналом. Бабы зашушукали все разом, где-то слышались причитанья, стоны и всхлипыванья.

– Мы обождем, – крикнул из толпы старушечий голос. – Поезжай с Богом, поп Савелий... Не таковское это дело, чтобы мужиков слушать.

Мужики смущенно молчали. Поп Савелий оглянул толпу и понял, что ему следовало делать. Он отправился в алтарь, помолился, взял походную дарохранительницу, надел старенькую баранью шубенку и опять вышел на амвон. Здесь он подошел к местному образу Богоматери и помолился. Он любил этот образ, – какой кроткий лик смотрел на его паст-

ву, а тут еще предвечный Младенец с простертыми вперед руками.

Толпа расступилась, когда поп Савелий, заплетаясь в своей шубенке, быстрыми шагами пошел к выходу. Евтроп шагал за ним, опустив голову. Жгучее чувство тоски у него сменилось смутной надеждой... А может быть, Господь помирует для сирот? Ведь трое их, сирот-то, с новорожденным... Ах, скорее, скорее: Парасковья ждет!

Раз решение состоялось, никто больше не спорил. Мужики толпой вышли проводить попа. У церковной ограды, потонувшей в глубоком снегу, была привязана Лысанка, знаменитая лошадь Евтропа, ходившая за ним, как собака. Это была самая неуклюжая тварь самой невозможной масти, точно вымазана была сметаной и вдобавок с белыми глазами, что придавало ей глупо-дикий вид. Евтроп хотел садиться в свои сани, когда его остановили.

– Куды ты лезешь, дуrolом?!.

Евтроп ничего не понимал. Мужики обступили лошадь и решили все дело.

– Поп Савелий поедет один, потому как Лысанке двоих-то вас везти не под силу, пожалуй, будет... Убродно сейчас ехать, а Лысанке надо еще два конца сделать. Доедешь оди-то, поп?

– Как не доехать, доеду, – согласился поп, запахивая свою шубенку.

– Повёртка будет на шестой версте, так ты держи правой

руки... – советовали мужики, усаживая попу в сани. – Ну, с Богом! Да ты тово, поп, распашнем не ездим... Вот тебе опояска. Вон как погода-то завивает... Помни повёртку-то.

Кто-то снял опояску, и ею опоясали попу. Чья-то рука поставила воротник, другая нахлобучила баранью шапку на самые уши, и поп был готов. Отвязанная Лысанка взглянула на хозяина, брыкнула задними ногами и не хотела идти. Двое мужиков под уздцы вывели проклятую скотину на дорогу, двое других пристегнули ее, и Лысанка рванулась так, что поп едва усидел.

– С Богом!..

## II

Зимняя выюга выла волком. Кругом было темно, как в трубе. Сухой снег переносился с места на место, как толченное стекло. Полозья скрипели, точно их кто хватал зубами. Одним словом, настоящая волчья ночь. Но поп Савелий ничего не боялся: разве в первый раз ему приходилось ехать с требой в такую погоду?

Отъехав, он оглянулся на церковь. Она светлела в снегу, как фонарь. Поп выпростал правую руку из меховой рукавицы и перекрестился. Он любил свою деревянную церковь, как родную мать. А вон в стороне и церковный домик, заметенный сугробами. В одном окне чуть брезжил слабый свет от лампадки. Село Полома совсем затерялось в глухом

лесу. Всех дворов не наберется и двух сотен. Они разбрелись по обеим берегам лесной речушки Поломки. Кое-где мелькали веселые огоньки. Это проворные старухи затопили печи. Давно уж живет поп Савелий в своей Полومه и знает каждую избу, каждую бабу, каждую скотину. Приход самый бедный, но поп Савелий не жаловался и не пошел бы на другое место ни за какие деньги. Его привязала к Полومه родная могила... Поступал он сюда на место еще совсем молодым и похоронил молодую жену на втором году. Умерла Савельева попадья от родов, как теперь умирала жена лесника Евтропа. Это совпадение заставило попа отнестись особенно сочувственно к горю Евтропа: родное было горе, знакомое... Да и день-то такой выдался. Один раз родится Христос в году, для всех родится, чтобы был «на земле мир и в человецех благоволение». Любил поп Савелий этот праздник, когда Христос приходил в мир, тот Христос, который лежал в яслях, которого окружали бедные пастухи.

Когда сани спустились к Поломке, Лысанка сделала отчаянную попытку вернуться назад – она стремительно бросилась в сторону и налегла всей тушей на оглоблю, но поп вовремя ухватил за вожжу и вовремя ударил упрямую скотину хлыстом. Лысанка взмахнула хвостом, брыкнулась и полетела вперед.

Лес начинался сейчас же за селом, – он обошел всю стройку живой зеленой стеной. Поломские мужики не имели даже пашен, потому что земля была холодная, неродимая. Толь-

ко кое-где на пожогах сеяли ячмень. Промышляли охотой, рыбными ловлями, а главное – сплавляли лес на Каму. Кругом Поломы, по лесам и болотам, рассыпались мелкие деревушки, починки, половинки и займища. Все это жилье тянуло к Полومه, где была и церковь, и волость, и кабак. Лысанка сама свернула на глухую лесную дорогу, закусила удила и понеслась легкой развалистой рысью. Сани были простые, крестьянские «крясла», то есть дровни, с широкими отводами, перепутанными веревками. На таких кряслах возили и сено, и дрова. Главное неудобство заключалось в том, что в кряслах поддувало со всех сторон, несмотря на положенное сено. Но поп Савелий не замечал холода, проникнутый одной мыслью, мыслью об умирающей женщине, которая ждала его в лесу.

– Ну, Лысанка, трогай!.. – понукал поп, хлопая лошадь вожжой. – Что задумываешься?..

Только в одном месте поп Савелий забыл и про Лысанку, и про ожидавшую его больную. Это было в полуверсте от Поломы, где среди леса выдалась широкая поляна. Здесь было кладбище, и здесь была похоронена молодая Савельева попадья. Он придержал лошадь, перекрестился и благословил торчавшие из-под снега деревянные кресты. Это была нива Божия... Ах, сколько зарыто тут горя, забот и опять горя! Как плакали здесь лесные мужики и лесные бабы, особенно бабы! Только зеленый лес знал все их причеты и плачи... Сюда же приходили перед венцом невесты-сироты, что-

бы попросить у родимого батюшки, у родимой матушки последнего благословеньица. Жалобнее этих невестиных плачей и заплачек ничего не было... Если бы этим слезам силу, так расступилась бы сама мать сыра земля!

– Лысанка, ступай скорее!..

Сжалось поповское сердце от земного горя, и вспомнилась непрощенная слеза, которую Евтроп вытирал кулаком.

– Лысанка, скорее...

А какой лес кругом: в небо дыра. Мохнатые ели стояли точно в дорогах белых шубах, протянув над дорогой лапистые ветви. Ветер в лесу был тише, только что-то гудело в вершинах. Дорога шла корытом. Кое-где образовались свежие снежные заносы, и Лысанка с трудом тащила сани. На половине дороги она вспотела. Пар так и валил с крутых боков. Но поп Савелий ничего не замечал и все гнал ее вперед. На повороте, где нужно было взять вправо, Лысанка завязла в снегу. Дорогу здесь перемело. Снег, сгрудившись под передком, не давал ходу. А давно ли Евтроп проехал?..

– Лысанка, вперед!..

Понатужилась крепкая скотина, закусил удила, нагнула голову и выперла из сугроба.

– Ай да Лысанка, – похвалил поп. – Ну, трогай, милая: немного нам с тобой осталось. Ну, чего оглядываешься? Ступай!.. Вот Божьего скотина выдалась тоже.

Поп Савелий, занятый мыслью, чтобы застать в живых умиравшую Парасковью, совсем не замечал пронизывавше-



го его холода. Поповская шубенка была плохонькая, выношенная, а под низом праздничный люстриновый подрясник – только и всего. Не велики и десять верст по хорошей зимней дороге, да лиха-беда в погоде.

– Только бы застать в живых Парасковью, – повторял про себя поп Савелий, припоминая, как умирала молодая попадья.

Тоже зимой было дело. Ни доктора, ни фельдшера, а одна старуха бабушка. Ах, лучше и не вспоминать... Лысанка, скорее!..

На последних двух верстах пришлось подгонять уставшую лошадь хлыстом. Умаялась скотинка, да ничего, отдохнет. Только бы вовремя доехать...

Кордон стоял немного в устороньи от дороги, и поп проехал бы мимо, если бы Лысанка круто не повернула к своему пепелищу. Занесенная снегом изба стояла темная: ни в одном окне света не было. Поп едва вылез из кресел, до того окоченело все тело от холода. Когда он стал привязывать Лысанку к столбу, дикая скотина ухватила было его за плечо своими волчьими зубами. Поп пожалел разорванную шубу и торопливо зашагал по двору к пошатнувшемуся крылечку, занесенному снегом. В темных сенях он по стенке ощупью добрался до двери. С ним в избу ворвался целый клуб холодного воздуха.

– Кто там? – окликнул с печки детский голосок.

– Да это я... поп... Жива мать?

– Молчит... должно что жива... Сейчас вздую огонька, а то я тут на печке с робенком отваживаюсь. Пищит все...

Детские босые ноги бойко засеменили по полу к печи. Загремела железная заслонка. Добыв из загнеты несколько горячих углей, девочка припала к ним лицом и принялась раздувать. Скоро синим огоньком вспыхнула приставленная к углям тонкая березовая лучинка.

– А тятка где? – тоном большого человека спросила девочка, зажигая большую лучину.

– Он там остался, в церкви. Двоим тяжело было ехать.

– Где же двоим, – согласилась девочка и прибавила детским голосом: – А тятка не в уме, что бросил нас одних. Ну, мамка помрет, а как же я с робенком-то?.. Пищит он...

Девочка подошла с зажженной лучиной к лавке, на которой лежала больная, осветила бледное лицо и серьезно проговорила:

– Жива...

Поп Савелий облегченно вздохнул. Ну, слава Богу!.. Он торопливо разделся, поставил дарохранительницу на стол в переднем углу и спросил:

– Свечки разве у вас нет?

– Какая у нас свечка... Тоже придумал! Всю зиму с лучиной сидим.

– Ах, какой грех... Надо было с собой у старосты огарок захватить, да второпях забыл. Ну, так ты того, умница, свети...

Девочка вся превратилась в одно внимание, наблюдая за каждым движением попа. Вот он развернул узелок, надел епитрахиль и начал молиться в передний угол, где едва можно было разглядеть потемневший от дыма образ. Поп Савелий читал молитвы наизусть, певучим речитативом. Девочка торопливо крестилась, стараясь не потушить лучины.

– Ну, теперь свети...

Поп подошел к больной. На него апатично глянуло оставившимися глазами мертвенно-бледное лицо. Жизнь едва теплилась, и только в глазах еще мелькало сознание. Говорить больная уже не могла... Поп Савелий знал, что она умрет сейчас же после исповеди и что ее поддерживает только жажда получить последнее напутствие. Большинство так: дождутся попа и помрут...

В избе тихо раздались первые слова «глухой исповеди». Больная со страшным усилием сложила пальцы правой руки крестом и отвечала только слабым движением глаз.

– Бог простит, – отвечал поп Савелий.

Он причастил больную, благословил и приложил походный медный крест к похолодевшим губам. Глаза больной сейчас же закрылись, и поп Савелий, прикрыв ее концом епитрахили, начал читать отходную.

Маленькая девочка стояла с лучиной и наблюдала с раскрытым ртом, пораженная невиданным зрелищем. Наконец лучина у нее погасла.

– Кончилась... – тихо проговорил поп Савелий, прислу-

шиваясь к замиравшему хрипению больной. – Господи, прости и благослови!..

### III

Было темно и тихо. Девочка опять полезла в печь «вздуть огня». Поп стоял посреди избы и только теперь почувствовал, что он ужасно прозяб, прозяб до того, что не мог сказать, было в избе тепло или холодно. Пальцы рук скрючились, как деревянные, – и это он тоже почувствовал только теперь, когда все кончилось.

– А я тебя боюсь... – заявила девочка, когда изба осветилась только что зажженной лучиной.

– Вот тебе раз! А давеча не боялась?

– Давеча мамка была жива, а ты приехал – она и померла...

Девочка присела на лавку и горько расплакалась. Поп Савелий видел эту детскую головку со спутавшимися белыми волосенками, скрещенные голые ножки, худенькие ручки, тоненькую шейку и понял, что он ничего не может сделать здесь больше и что должен вот сейчас ехать. Служба не ждет...

– Ах, милая... как же нам быть с тобой? – бормотал он, глядя на девочку. – погоди, скоро тятка приедет... Одна-то не боишься остаться?

– Б-бо-юсь... – слезливо протянула девочка. – И тебя бо-

юсь, и без тебя боюсь...

В этот момент запищал на печке ребенок, и девочка то-ропливо проговорила, передавая лучину попу:

– Ты поддержи-ка лучину-то, пока я с ним там буду водиться. Он совсем ма-ахонькой, как клопик!..

Поп Савелий остался посреди избы с лучиной в руках, а шустрая девчонка уже возилась на печке, где в лукошке что-то пицало и корчилось.

– Свети хорошенько, а то погасишь лучину-то! – сердито крикнула девочка, стоя на коленях над своим лукошком.

– Ну, умница, так? – ласково говорил поп, вставая одной ногой на приступок. – Ничего, жив будет: вон как кричит...

В ответ ему улыбнулось детское личико, полное такой большой материнской тревоги. Сейчас девочка уже не боялась попа. Он ей казался добрым... А поп смотрел на маленькую няньку и не чувствовал, как у него по лицу катились слезы. Господи, какая ночь, и какое вечное чудо творится кругом нас каждый час и каждую минуту, и как мы не замечаем этого чуда... Разве жизнь кончается хотя на одно мгновенье?.. Вот и в этой девочке та же премудрость Божия, которая научает птицу вить свое гнездо, дикого зверя пестовать своих детенышей и несмышленного младенца заменять мать.

– Тятка-то, поди, на брезгу выворотится, – тоном взрослого человека заметила девочка, укачивая свое лукошко. – Ты поезжай скорее, а то напрасно лошадь задерживаешь...

Я уж тут как-нибудь одна управлюсь.

Поп Савелий благословил новорожденного, и няньку, и спавшего на полатах мальчика и погасил лучину. В темноте он надел свою шубенку, опоясался и еще раз благословил «усопшую рабу Божию Параскеву».

– Ну, прощай, Танюшка...

– И то прощай, поп... Мотри, чтобы Лысанка-то где-нибудь на повороте не выкинула тебя из рясол. От нее станется, от белоглазой. Да с левой стороны не подходи к ней, когда будешь отвязывать: зацепит зубищами-то как раз.

– Она и то за плечо было сцапала меня...

– Ну вот... Только одного тятку и знает. Скажи тятке, чтобы привез из Поломы тетку Маланью. Сбилась я с робенком...

Поп Савелий почувствовал смертную усталость, когда вышел из избы снова на мороз. Да и выюга очень уж закрутила... На дворе от его следов не осталось и помину. Лысанка вся скорчилась и дрожала. Она не сделала ни малейшей попытки еще раз рвануть попа, как давеча.

– Ах, замешкался с девчонкой! – пожалел поп, усаживаясь в сани. – Ну, Лысанка, трогай!

Лысанка точно понимала, какое трудное дело ей предстояло впереди, и оглянулась. Бывалый конь: два раза медведь драл, волки хватили раз десять, и Лысанка уходила и жива, хоть морда у нее и была оборвана, а медвежьи лапы оставили глубокие следы на задних ногах.

Ветер крутил в воздухе совершенно сухой снег, который так и резал лицо. Что-то зловещее ныло и стонало в воздухе.

– Вот так задалась ночка, – вслух проговорил поп, когда сани заскрипели по сухому снегу.

За какой-нибудь час дорога сделалась неузнаваема, особенно по ложкам и открытым еланям. Поп Савелий опустил вожжи и съежился: очень уж донимал его холод. Когда вперед ехал, так ничего не замечал, но сейчас нервное приподнятое настроение сменилось усталой апатией. Не замечал поп Савелий, что и Лысанка изошла силой и только-только тащила сани, с трудом вытаскивая свои мохнатые ноги из снега. Она все чаще и чаще оглядывалась назад, точно хотела сказать, как ей тяжело.

Сколько времени ехали до повёртки, поп Савелий затруднился бы ответить. Самое время как-то потеряло течение. Долго ехали, а сколько – трудно сказать... Поп Савелий задремал и очнулся только тогда, когда сани остановились. Что такое случилось?.. Лысанка тонула в снегу. Это был давешний сугроб, а сила уж не давешняя.

– Ах, милая... – проговорил поп, вылезая из саней с величайшим трудом – от каждого движения руки и ноги резало точно ножом.

«А ведь этак и замерзнуть недолго, – подумал поп, припоминая свою дремоту. – Точно проморило...»

Он попрыгал на снегу, похлопал руками, подтянул потуже опояску и принялся за лошадь. Надо ее вытаскивать из

снега... А Лысанка уже лежала, вытянув голову: ногами она не доставала твердой дороги. Поп Савелий отоптал кругом снег и потянул Лысанку за повод, – она продолжала лежать. Пришлось отаптывать сани и выгребать снег из-под передка прямо руками. А ветер так и пронизывает насквозь... Даже дышать трудно.

– Лысанушка, милая...

Лошадь тяжело дышала, полузакрыв глаза. Отдохнув в снегу, она сделала отчаянное усилие и рванулась всем телом. Сани были выхвачены. Почувствовав под ногами твердую дорогу, Лысанка хrapнула, мотнула головой и встряхнулась так, что затрещали гужи.

Поп Савелий рассчитывал, что согреется от работы, а вместо того его так и валила с ног мертвая усталость. Он с трудом забрался в сани, подкорчил под себя ноги и окоченевшие руки спрятал за пазуху. Лысанка была предоставлена самой себе и пошла мерным шагом, как всякая возовая лошадь. Иногда она останавливалась, чтобы сделать передышку, мотала головой, фыркала и опять начинала тяжело шагать. А выюга разыгралась вовсю... Даже здесь, в лесу, ничего нельзя было рассмотреть в двух шагах: перед глазами ходила какая-то мутно-белая стена.

Всего сильнее у попа Савелия мерзли руки и ноги. Ужасное чувство, когда живая кровь начинает застывать в живом теле... Он несколько раз выходил из саней и пробовал согреться на ходу, но только сильнее уставал. Да и дороги оста-



валось немного: всего несколько верст. Лысанка напрягала последние силы, вытянув шею.

– Лысанушка, не выдавай!..

Поп Савелий прилег на левый бок, подставив под ветер спину. Так будто теплее... А шубенка совсем негодящая, да и нет другой. Эх, поторопился, надо бы надеть под шубу стеганый теплый подрясник. Тоже старенький подрясник-то, а только куда бы теплее! Еще при покойной попадье был сшит. Мастерица была... Кабы жива была, пожалуй, и не пустила бы в такую непогоду! А там народ в церкви ждет... Старики которые и поворчат, ну да пусть ворчат: дело Божье сделано. Дождалась-таки Парасковья-то... Уж глаза мутные стали, а попа признала. Все они такие: пока здоровы, так всё на попа, а помирать пришлось – за попом. Поп с живого и с мертвого дерет, и еще разное другое. Конечно, темнота!.. А вот где это звон? Неужели в Полеме заблаговестили, не дождавшись его? Поп Савелий прислушивается – нет, это ветер гудит по лесу.

Гудит ветер, белым саваном гуляет вьюга, стонет дремучий лес... А что это там впереди? Зеленый огонек... раз... два... три... волки!.. Поп Савелий в ужасе открывает глаза: нет, опять поблазнило. Драма так и клонит... А Полома уж совсем близко, он это чувствует, потому что Лысанка прибавила шаг. Да, близко... Вот искоркой затеплился первый огонек... другой... третий... Лысанка понеслась стре-

лой. Сейчас и обедню начинать. Слава Богу, все благополучно! А народ уже ждет попа в церкви. Только подъехали сани к ограде, как и колокол загудел. Поп Савелий быстро заходит в церковь и чувствует, как его охватывает живое тепло... Он идет прямо к местному образу, хочет помолиться и видит чудо: Младенец Христос улыбается ему и протягивает руки... Страшно сделалось попу Савелию, жутко, а другие ничего не замечают и только смотрят на него.

– Смотрите... смотрите... – шепчет поп Савелий. – Великое чудо мне, недостойному...

И все-таки никто не видит, и попу Савелию делается еще страшнее, а предвечный Младенец все улыбается и все тянется к нему простертыми вперед ручками.

## IV

Когда сани с попом Савелием пропали в ночной мгле, лесник Евтроп несколько минут стоял у церковной ограды в тяжелом раздумье. Возвращаться в церковь ему не хотелось, да и идти больше было некуда. Провожавшая попу толпа мужиков разошлась, и он слышал, как кто-то сказал:

– Поделом вору и мұка...

От этих слов у него закипело озлобление против всех. Чему они обрадовались? Чужая беда сладкой показалась. Евтроп посмотрел на мутное зимнее небо, прислушался к завывавшей метели и пожалел попа Савелия: как бы не застрял

он где-нибудь в сугробе. Ну, да Лысанка выволокет...

Так он в церковь и не пошел, а присел на деревянную лавочку у паперти, где летом отдыхали старики и старушки.

Толпа в церкви немного поредела. Многие разбрелись по домам, чтобы вернуться с благовестом к обедне. Оставались приезжие из соседних деревень, которым, как и Евтропу, некуда было идти. Бабы расселись на полу и потихоньку шушукались. Мужики сбились в кучку у старостина прилавка. У всех была одна мысль... Странно, что думали не о попе Савелии и не об умирающей Парасковье, а об Евтропе, который сидел на ветру и стуже.

– Тоже совесть есть... – говорил кто-то из стариков. – Как собака на сене лежит: сама не ест и другим не дает, так и он у себя на кордоне. Сколько из-за него протоколов-то написали... штрафы... высидка...

– Кровь нашу пил!..

– Жалованье от казны получает... Тоже, чиновник!..

– Вот и отлились медведю коровьи слезы.

Выгрузив весь запас накипевшей ненависти, мужики замолчали. Старик староста, нахмурившись, пересчитывал медные деньги. В церкви слышалось теперь бабье сдержанное шушуканье. Лесные бабы расселись по полу, как редька на гряде. У всех головы были замотаны яркими бумажными шальями, какие надевались только по праздникам. Бабы обсуждали вопрос, дождется Парасковья попа или не дождется.

– Как не дожждаться, бабоньки... Тоже ведь христианская

душа. Матушка Заступница поможет... Такое дело-то...

– Одна-одинешенька на кордоне-то замаялась... Устигла беда невзначай.

– А около-то девчурочка махонькая. Испить некому подать... Не приведи Господи никому!

– И поп у нас простой. Другой бы не поехал от обедни.

– Простой, на что проще... Да и то сказать, не чужое горе: сам попадейку молоденькую схоронил от родов. Мужики-то даве не пуцают, а ему охота, значит, попу...

– Охота не охота, а обязан, потому Божье дело, ежели Парасковьян час пришел... А где же Евтроп-то?..

– На лавочке сидит у паперти...

– Ах, бабоньки!.. Да ведь стужа на дворе!..

В этой толпе боролись два чувства: исконная ненависть к леснику и жалость к его настоящему положению. Очень сильно было первое чувство и долго не уступало второму. Толпе нужно было выговориться и вылить накипевшее зло. Затем наступила тяжелая пауза...

– А куда он с ребятишками-то денется? – слышалось на бабьей половине.

– Ох, и не говори: совсем пропащее дело! Таньке-то только в Петровки восьмой годок пошел, а под ней мальчонка, почитай, еще из сосунков не вышел, да еще ребенок грудной... Евтроп-то по лесу шляется, а как ребята будут?..

– Не вовремя Парасковья надумала помирать. Обождать бы ей лет с пять.

– И жениться Евтропу на детей мудрёно.

– Хорошая девка ни в жисть не пойдёт...

Прихлынувшее к ребятам-сиротам сожаление сразу перевесило враждебное чувство к Евтропу. Умный старик староста выждал именно этот момент, подозвал к себе особенно злобившегося на Евтропа мужика и сказал:

– Сегодня какой день-то, мил-человек?.. То-то вот... Ты злость свою не забыл, а там живой человек мерзнет. У него сироты... Ступай-ко да приведи его обогреться. Может, и тебя Господь простит... Не нашего это ума дело, да и час не такой.

Лесной мужик только вздохнул и тяжело вышел из церкви. Евтроп сидел на своей лавочке, опустив голову.

– Евтроп... а Евтроп? Чего студишься-то задарма?.. Староста велел тебя в церковь вести. Обогрейся ужо...

Лесник не понял, что ему говорил мужик, – это был тот самый, который сказал давеча: «Поделом вору и му́ка».

– Да иди, говорят!.. Чего идиолом-то сидишь здесь?

Евтроп поднялся и молча зашагал на паперть. Его провели в сторожку, где жарко топилась печка. Сторожка была маленькая, и лесник не знал, как ему повернуться. Кто-то посторонился и уступил ему место у печки. Все молчали, и только было слышно, как в трубе завывает вьюга.

– Где-то теперь поп Савелий катит? – заметил старый трапезник, мешая угли в печи. – Поди, уж повёртку проехал...

Лесник встрепенулся. Он сразу прикинул в уме время,

непогоду, Лысанкину силу и решил:

– Как раз сидит поп в сугробе на повёртке... Ну, да ничего, Лысанка вызволит!

Опять молчание. Опять только ветер завывает в трубе. К огню протянуты корявые мозолистые руки; на лица падает красная колеблющаяся тень. Евтроп поглощен мыслью о своем лесном гнезде. Его опять охватывает жуткое чувство... И Парасковью жаль, и ребятишек, да и себя попутно. Какой он теперь человек будет? Здорова была Парасковья, так и в счет не шла. Бивал он ее под пьяную руку не раз... А вот и его Господь нашел: как крышкой накрыло горем-то! Людям праздник, людям радость, а ему потемки. Ужо домовину<sup>20</sup> надо налаживать. И кряж есть такой на примете.

– Теперь, надо полагать, поп требу правит, – заметил старый трапезник, подбрасывая в печку дров.

– Надо полагать... – согласился Евтроп, прикидывая в уме время. – Как вот он назад-то поедет! Пожалуй, Лысанка из силы выступит... Тоже нелегкое дело три конца в такую непогоду сделать.

Мужики заговорили о Лысанке: выдюжит или не выдюжит? Настигнутый несчастьем лесник теперь сделался предметом общего сочувствия, хотя открыто этого никто и не высказывал. Могутный мужик, а без бабы грош ему цена! Лесным делом и с ребятишками некуда деться... В деревне соседки бы присмотрели, ну, старушка какая бобылка подо-

---

<sup>20</sup> Домовина – гроб. В лесных местностях делают гроб из цельного дерева.

мовничала, а на кордоне одни изомрут. Жаль мужика, вот как жаль!

Евтроп чувствовал это поднимавшееся к нему сочувствие, как чувствовал теплоту от горевшего в печи огня. Раньше его поддерживало общее озлобление, а теперь он вдруг ослабел, обессилел, изнемог и сделался беспомощно-жалким. В таких положениях физически сильные люди особенно жалки... Мужики это чувствовали и старались не смотреть на Евтропа. Захолонуло у него на душе, пусть сам оклемается!.. Главное, чтобы бабенки не разжалобили своим хныканьем.

– Ну, теперь поп назад едет...

Прошло уже часа два, и терпение истощилось. Раньше считали часы, а теперь минуты. Самые нетерпеливые выходили на паперть, чтобы посмотреть, не едет ли поп Савелий. Уж давно пора!.. Наконец прошли все сроки.

– Где же поп-то? – приставали мужики к Евтропу.

– А я почему знаю: должен воротиться...

– Может, проезду нет?

– Я проехал... Больно выюга окрепла.

– А Лысанка вывезет?

– Она-то вывезет, ежели в сугробе не завязнет. Может, замешкался поп где-нибудь в сугробе.

Общее томительное ожидание разрешилось только, когда к церковной ограде подъехали кресла лесника. От Лысанки валил пар, от истомы она шаталась на ногах как пьяная. В

кряслах, скорчившись, сидел поп Савелий и не шевелился. Он казался таким маленьким... Толпа обступила крясла.

– Батюшки, да ведь поп-то замерз! – крикнул чей-то голос.

Все ахнули. Около саней росла толпа. Послышались причитанья и тихий женский плач, а поп Савелий лежал в кряслах с блаженно-счастливым лицом, как тихо заснувший ребенок.



# Размышления о Рождестве



# А. П. Зонтаг

## Рождество Христово



Иосиф, обрученный жених Марии, не знал о бывшем ей благовествовании, но Бог открыл ему тайну сию. Во сне явился ему Ангел и сказал: «Иосиф, сын Давидов! Не бойся взять Марию в жену себе! Она будет матерью сына Божия; родившегося от нея младенца ты назовешь Иисусом (сие имя означает Спаситель) потому, что Он спасет людей своих от

грехов их».

Проснувшись, Иосиф тотчас исполнил повеление Ангела: он взял Марию в дом свой, и они жили в Назарете мирно, согласно, исполненные благодарности к Богу, и вели жизнь невинную, как Ангелы на Небесах.

Иосиф и Мария ожидали всякий день исполнения обещанного им Богом, когда получено было повеление от римского кесаря Августа сделать перепись всем его подданным. Всякий должен был вписывать имя свое в месте своего происхождения.

Иосиф и Мария, будучи потомками царя Давида, должны были вписать имена свои в Иудее, в городе Вифлееме, отчизне Давидовой. Таким образом исполнилось одно из древних пророчеств, предсказывающих, что Христос родится в Вифлееме. Они отправились туда. Столь дальний путь, в Мариином положении, был очень тягостен; но она без роптания повиновалась кесаревой воле.

Они прибыли в Вифлеем вечером. Туда собралось множество народа для переписи; все дома были наполнены приезжими. Иосиф напрасно искал пристанища для себя и подруги своей, где бы провести ночь; их никуда не хотели пустить, как потому, что все дома были заняты постояльцами, так и потому, что вся наружность их показывала величайшую бедность. Ночь наступала; они были утомлены путем и не находили нигде пристанища! Какое ужасное положение! В самом конце города была пещера, в которой жили пастухи; они

пригоняли туда на ночь стада свои. В сем-то вертепе родился Иисус Христос, Сын Божий!

Мария спеленала Его и положила в ясли, потому что не было другого места. Небесный Младенец при появлении Своем на свет встретил бедность, унижение. Он родился среди тишины ночной; для одеяния Его не было ничего, кроме бедной пелены; для успокоения ничего, кроме соломы и сена, положенных в ясли!.. Как далеко отстоит небо от земли, так мысли Божии выше мыслей человеческих! Чего ищут люди в сем свете? Почестей, богатства! Иисус Христос при самом пришествии Своем на землю хотел показать нам, сколь они ничтожны и что прямые блага суть добродетели! Вы, которые желаете богатства, вы, которые оплакиваете свою бедность, вспомните, что Иисус Христос родился бедным младенцем, что избранные Им земные родители, Иосиф и Мария, святейшие из людей, были бедны. Подумайте об этом и утешьтесь! Есть блага, превосходящие богатства.

В сию ночь весь Вифлеем был погружен в глубокий сон; не спали только некоторые пастухи, стерегшие в поле стада свои. Они были добрые люди. Души их были чисты и ясны, как сияющее над ними безоблачное небо; кротки и спокойны, как охраняемые ими агнцы; они были просты и откровенны, как жители сел; невинны и набожны, как юноша Давид, здесь же некогда пасший овец своих.

В эту ночь пастухи сии увидели перед собою Ангела, во всем блеске сияния небесного. Они испугались, но Ангел

сказал им: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость для всего Израиля. В ночи сей, во граде Давидовом, родился Христос Спаситель! Вы узнаете Его, найдя младенца, обвиненного пеленами и лежащего в яслях!»

После сего пастухи увидели с Ангелом благовестником бесчисленное множество Ангелов, славящих Бога священным пением: «Слава в вышних Богу и на земле мир, к человекам благоволение!» Ангелы скрылись в пучине небесного света, и темнота ночная снова водворилась вместе с тишиной.

«Пойдемте в Вифлеем! – говорили пастухи друг другу в радостном восторге. – Пойдем! Увидим сами то, что Господь возвестил нам!» Они вошли в знакомую им пещеру; там нашли они Иосифа и Марию и при слабом свете светильника увидели Божественного Младенца, лежащего в яслях. Они подошли к Нему и смотрели на Него с тихим, безмолвным благоговением.

Мария и Иосиф, полагавшие, что о рождении младенца, кроме них, никому не было известно, удивились, видя, что оно возвещено было вошедшим к ним пастухам. Пастухи рассказали им о виденном им явлении. Вероятно также, что Мария и Иосиф сообщили пастухам обо всем, что касалось до новорожденного; ибо они вышли из пещеры, славя и благодаря Бога за все виденное и слышанное, и пересказывали о сем всем своим знакомым. Мария же соблюла в сердце своем все сказанное о Младенце.

1837

# К. П. Победоносцев

## Рождество Христово



Рождество Христово и святая Пасха – праздники, по преимуществу, детские, и в них как будто исполняется сила слов Христовых: «Аще не будете яко дети, не имате внити в царствие Божие». Прочие праздники не столь доступны детскому разумению, и любезны для детей более по внешней обстановке, нежели по внутреннему значению...

Однако же и из двух названных больших праздников – дитя скорее поймет и примет простым чувством Рождество Христово.

Как счастлив ребенок, которому удавалось слышать от благочестивой матери простые рассказы о Рождестве Христа Спасителя! Как счастлива и мать, которая, рассказывая святую и трогательную повесть, встречала живое любопытство и сочувствие в своем ребенке, и сама слышала от него вопросы, в коих детская фантазия так любит разыгрываться, и, вдохновляясь этими вопросами, спешила передавать своему дитяти собственное благочестивое чувство. Для детского воображения так много привлекательного в этом рассказе.

Тихая ночь над полями палестинскими – уединенный вертеп – ясли, обставленные теми домашними животными, которые знакомы ребенку по первым впечатлениям памяти, – в яслях повитый Младенец и над Ним кроткая, любящая мать с задумчивым взором и с ясною улыбкой материнского счастья – три великолепных царя, идущих за звездой к убогому вертепу с дарами – и вдали на поле пастухи посреди своего стада, внимающие радостной вести Ангела и таинственному хору сил небесных. Потом злодей Ирод, преследующий невинного Младенца; избиение младенцев в Вифлееме – потом путешествие святого семейства в Египет – сколько во всем этом жизни и действия, сколько интереса для ребенка!

Старая и никогда не стареющая повесть! Как она была привлекательна для детского слуха, и как скоро сживалось с



нею детское понятие! Оттого-то, лишь только приведешь себе на память эту простую повесть, воскресает в душе целый мир, воскресает все давно прошедшее детство с его обстановкою, со всеми лицами, окружавшими его, со всеми радостями его, возвращается в душу то же таинственное ожидание чего-то, которое всегда бывало перед праздником. Что было бы с нами, если бы не было в жизни таких минут детского восторга!

Таков вечер перед Рождеством: вернулся я от всенощной и сижу дома в той же комнате, в которой прошло все мое детство; на том же месте, где стояла колыбель моя, потом моя детская постелька, — стоит теперь мое кресло перед письменным столом. Вот окно, у которого сживала старуха няня и уговаривала ложиться спать, тогда как спать не хотелось, потому что в душе было волнение — ожидание чего-то радостного, чего-то торжественного на утро. То не было ожидание подарков — нет, — чуялось душе точно, что завтра будет день необыкновенный, светлый, радостный, и что-то великое совершаться будет. Бывало, ляжешь, а колокол разбудит тебя перед заутреней, и няня, вставшая, чтобы идти в церковь, опять должна уговаривать ребенка, чтобы заснуть.

Боже! Это же ожидание детских дней ощущаю я в себе и теперь... Как все во мне тихо, как все во мне торжественно! Как все во мне дышит чувством прежних лет, — и с какою духовною алчностью ожидаю я торжественного утра. Это чувство — драгоценнейший дар неба, посылаемый среди мирско-

го шума и суеты взрослым людям, чтобы они живо вспомнили то время, когда были детьми, следовательно, были ближе к Богу и непосредственнее чем когда-либо принимали от Него жизнь, свет, день, пищу, радость, любовь – и все, чем красен для человека мир Божий.

Но это ожидание – радости великой и великого торжества – у ребенка никогда не обманывалось. У ребенка минута ожидания так сливалась с минутой наслаждения и удовлетворения, что не было возможности уловить переход или середину. Ребенок просыпался утром – и непременно находил то, о чем думал вечером, встречал наяву то, о чем говорили ему детские сны: существенность для ребенка – не то же ли, что сон; сон его не то же ли, что существенность? Ребенок утром просыпался окруженный теми же благами жизни детской, которые бессознательно принимал каждый день, – только, освещенные праздничным светом, лица, его окружавшие, были веселее, ласки живее, игры одушевленное. Чего же более для ребенка? Ребенок не жалел на утро о том, чего ожидал вечером: как было бессознательно вчерашнее ожидание, так и утреннее наслаждение было бессознательно...

О великая таинственная ночь! О, светлое, торжественное утро! Если забуду тебя, если останусь равнодушен к тебе, если перестану слышать те речи и словеса, коих гласы слышатся в тебе всякой душе верующей, – стало быть, я забуду свое детство, свою жизнь и самую вечность... ибо что иное веч-

ность блаженная, как не вечная радость младенца перед лицом Божиим!

*1885*

## **А. Ф. Платонова**

### **С нами Бог!**



«Христос рождается – славите!»

Вот опять она, радостная, светлая, торжествующая рождественская песня! Опять раскрывается над изумленной бедной землей полночное небо, опять несказанную Тайну созерцает она, опять слышит ангельское пение:

«Слава в Вышних Богу и на земле мир, в человецех бла-

говоление!»

О, если бы не один миг или час, если бы всегда, вечно слышать эту ликующую песню, если бы, найдя раз Христа в яслях Вифлеема, никогда не отходить от Него!

Вот оно, то великое, чудное, страшное, чего так ждало, по чему так тосковало, томилось человечество тысячи лет: совершилась великая тайна – Бог явился во плоти!

Пусть теперь все силы мира сего, все силы ада ополчатся на нас, – ничто и никто не отлучит нас от любви Божией, ничто не удалит от нас по неизреченной любви к нам сошедшего на землю Сына Божия, никто не исхитит нас из руки Его, никакие враги не устрашат нас, потому что «с нами Бог!»

И в этом сознании, в этом живом ощущении близости Божества – источник вечной радости христианина, источник того несказанного блаженства, которого тщетно жаждут люди, лишенные веры и живущие вне Церкви.

Год за годом уходит в вечность, а они все ждут, все ищут какого то «нового» счастья.

«Сколько раз простираю я руки к обманчивым грезам и снова затем стоял над этим горным потоком, прислушиваясь с закрытыми глазами к его монотонному вечному шуму, с печалью и беспредельной скорбью в душе!»

Какая грусть! Какая тоска!

Но такой же тоской не терзается ли огромное большинство людей, протягивающих руки, как этот поэт, стоящий в горьком раздумье над горным потоком, к обманчивым гре-

зам, к призракам счастья, и с ужасом постоянно сознающих, что эти призраки убегают от них?!

Вот человек, провозглашающий, что счастье миру может дать только одна наука. С какой верой именно в науку, в силу человеческого разума идет он по жизненному пути, заранее предвкушая блаженство всеведения, стремясь проникнуть своим разумом в самые сокровенные тайны бытия! И, однако, счастье отодвигается от него все дальше и дальше, уверенность и мир незаметно оставляют душу, и, вместо них, в нее вползает какая-то непонятная тоска, глухой непередаваемый ужас человека, роковым образом катящегося в бездонную пропасть... «Знающий все», стремящийся быть «яко бози», человек, оказывается, не знает самого главного: для чего он живет? Думавший озарить весь мир своим светочем, он вдруг сознает себя самого объатым тьмой, и те, которые шли за ним, оказываются вдруг жалкими и беспомощными, как «слепые» в драме Метерлинка, когда умер старик священник: для них «религия погибла, проповедника не стало, вера угасла. Что же осталось? Ничего, кроме беспредельной власти смерти! Она осталась, и только ее шаги слышат слепые, а остальное все молчит».

Другие люди видят свое счастье в материальных благах, живут, не задумываясь над «проклятыми» вопросами, не заглядывая в будущее.

Но одно волнение житейского моря, одно дыхание смерти, и в один миг рушится воображаемое счастье: слава, бо-

гатство, любовь – земная, страстная, основанная на поклонении внешнему человеку, – все проходит и исчезает, как тень, все кажется счастьем только издали, ярким огнем блистает впереди, а едва только человек приблизится к нему, рассеивается, гаснет, пропадает, как марево пустыни.

– Нечем жить! – вот признание, которое приходится слышать и из уст человека, заваленного научным или житейским трудом, и из уст человека, пользующегося всеми видимыми благами жизни, и даже из уст тех, которые только заглянули в лицо жизни и отшатнулись в ужасе от пахнувшего на них холода могилы...

Нет смысла жизни, нет счастья, которого так мучительно жаждет человеческая душа!

Но это потому, что большинство людей живет и умирает с «закрытыми» глазами, не видя ничего, кроме беспросветной тьмы, не слыша ничего, кроме общего, нестройного шума исполинского потока...

В этом мука, в этом трагедия жизни...

И хочется сказать им: «О, если бы вы открыли глаза! Вы увидели бы над потоком жизни сияющий крест Церкви Христовой, лучами пронзающий тьму! Если бы вы открыли глаза, вы увидели бы, как сонмы подобных вам труждающихся и обремененных в этот же самый миг не проклинаяют, а благословляют жизнь: в их душах такая полнота счастья, что им уже нечего больше желать, как только того, чтобы не отлетела от них „радость совершенная“, но росла бы и раскрыва-

лась бесконечно...

Это те, для кого в сегодняшнюю рождественскую ночь во- истину родился Христос! Это те, которые теперь слышат и сами поют победную песню „С нами Бог!“»

В Святую Рождественскую ночь что-то чудное загорается в душе... Вот-вот поднимется перед ее очами завеса в Свя- тое Святых... и уже поднялась, и уже видит она Того, на Ко- го чины Ангельские не смеют взирати...

И ни где-нибудь там, на Престоле Херувимском, почивает Он, – слабым младенцем лежит в яслях, в убогом вертепе! На землю сошел Тот, Кому нет имени на языке человеческом.

Господи, пусть же придут к Тебе в эту ночь все ищущие Тебя, пусть исполнятся радости несказанной и вместе с небесным воинством будут петь:

«Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецех благо- воление!»